

НОВАЯ ПОЛЬША

№11₍₁₄₎



2000

Станислав Лем НАУКА НЕ ВИНОВАТА

Носов, Карпус, Скарадзинский:

ФАКТЫ О СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ 1920 г.

Виктор Кулерский СУДЬБА КОСТЮШКОВЦА

ПОСЛЕДНЯЯ БЕСЕДА С ЯНОМ КАРСКИМ

Кристина Янда Я НЕ ИЗ МРАМОРА

Александр Шенкер МЕЖДУ ПИТЕРОМ И РИМОМ

ПРОЗА Мирона Бялошевского

Гжегож Пшебинда о новой книге МИХАЛА ЯГЕЛЛО

ВАРШАВА

ISSN 1508-5589

«Новую Польшу»

ищите в магазинах:

В Москве:

«Эйдос»

(Чистый пер., д. 6, стр.2);

«Графоман»

(ул., Бахрушина, д.28);

«Ад Маргинем»

(1-й Новокузнецкий пер., д.5/7);

«Русское зарубежье»

(Нижняя Радищевская, д.2);

«Летний сад»

(Б.Никитская, д.46);

«Магазин исторической книги»

(Старосадский пер, д.9);

«Букинист»

(ул. Остоженка, д.53);

«Гилея»

(ул. Б. Садовая, д.4);

Киоск в Центральном доме литераторов

(ул. Б.Никитская, д.53);

В Санкт-Петербурге

«Книжный салон» филологического факультета СПбГУ

(Университетская наб., д.11)



НОВАЯ ПОЛЬША

ISSN 1508-5589



№ 11(14)

2000

НОЯБРЬ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК



НЕ НАУКА ВИНОВАТА, А ЛЮДИ
Беседа со Станиславом Лемом

3



Виктор Кулерский
ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

9



Марцин Круль, Рышард Легутко, Александр Смоляр
УГРОЖАЕТ ЛИ НАМ ТИРАНИЯ СВОБОДЫ

15



ПОИСКИ АНТИ-КАТЫНИ
Интервью с Борисом Носовым

18



Збигнев Карпус
ФАКТЫ О СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ 1919-1921

22



Богдан Скарадинский
КРАСНЫЕ КАЦАПЫ И ПОЛЬСКИЕ ПАНЫ

25



Виктор Кулерский
СУДЬБА КОСТЮШКОВЦА

28



ПОСЛЕДНЯЯ БЕСЕДА С ЯНОМ КАРСКИМ

39



НАШИ ЛЮДИ
Я НЕ ИЗ МРАМОРА
Интервью с Кристиной Яндой

43



Александр Шенкер
МЕЖДУ ПИТЕТРОМ И РИМОМ

49



АНТИ-КАТЫНЬ?



MIRON



Адам Мицкевич 54
К РУССКИМ ДРУЗЬЯМ в переводе Анатолия Якобсона



Наталья Горбаневская 54
К ПУБЛИКАЦИИ НОВОГО ПЕРЕВОДА...



Владимир Фромер 55
ГОЛОС С ТОГО СВЕТА



Мария Пруссак 56
РУССКИЕ ДРУЗЬЯ И НЕДРУГИ



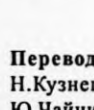
Веслава Кордачук 61
СЕМЕН ЛАНДА



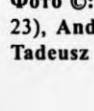
Рышард Матушевский 62
О МИРОНЕ БЯЛОШЕВСКОМ



Мирон Бялошевский 62
ДОНОСЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ



Мирон Бялошевский 68
ДНЕВНИК ВАРШАВСКОГО ВОССТАНИЯ



Гжегож Пшебинда 72
МЕСТО ДЛЯ ДРУГОГО



Янина Куманецкая 79
ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Лешек Шаруга 83
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

Редакционный совет

Стефан Братковский
Хенрик Возняковский
Наталья Горбаневская
Ежи Клочовский
Кароль Модзелевский
Януш Тазбир
Станислав Чёсек

Ежи Помяновский

(главный редактор)

Редколлегия

Наталья Горбаневская
Никита Кузнецов
Виктор Кулерский
Янина Куманецкая
Петр Мицнер (зам. гл. редактора)
Кристина Пашек (секретариат)
Гжегож Пшебинда
Ежи Редлих (зам. гл. редактора)
Станислав Филипчак

(ответственный секретарь)

Лешек Шаруга
Дмитрий Шевионков-Кисмелов
(главный художник)

Графика и макет

Дмитрий Шевионков-Кисмелов

Техническая редакция

Кацпер Ванчик

Адрес редакции

Al.Niepodległości, 213
02-086 Warszawa
Ал. Неподлеглости, 213
02-086 Варшава
телефоны: (0-22) 608 27 95; 608 25 65
факс: (0-22) 608 25 05; 608 27 96
e-mail: nowpol@bn.org.pl

Информация о журнале для стран
СНГ: Издательство МИК, М-ва, ул.
Большая Переяславская, д.5, кв.49
Тел.: 280-83-52
e-mail: mik@mecom.ru

Издатель

BIBLIOTEKA NARODOWA
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

По поручению
Министерства Культуры
и Национального Наследия
Республики Польша

Переводчики: А.Базилевский, А.Бондарев, Л.Гвозд, Н.Горбаневская, Н.Кузнецов, А.Пустынцева, С.Свяцкий, К.Старосельская, С.Филипчак, Ю.Чайников.
Фото ©: E.Lempp (стр. 3), Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (стр. 23), Andrzej Rybczyński (PAP-CAF) (стр. 39), Michał Mutor (стр. 43), Tadeusz Sobolewski (стр. 62), Marta Zielińska (стр. 69, 70)



НЕ НАУКА ВИНОВАТА, А ЛЮДИ

Беседа со Станиславом Лемом

Станислав Лем (род. во Львове в 1921 г.) — известнейший современный польский писатель. В России его знают благодаря многочисленным переводам. Как правило, Лема считают классиком научной фантастики, в действительности же он — всесторонний мыслитель. По образованию Лем медик, однако медицине он воздал должное только в романе «Больница преобразования». В период военного положения жил в Вене. В настоящее время вернулся в Краков, где сотрудничает с еженедельником «Тыждник повшехний». Лем лишен идеологических предрассудков. Нам кажется, что его предостережения достойны внимания наших читателей, хотя мы, зная поляков, не разделяем его вселенского пессимизма.

— Вот уже 13 лет, как вы перестали писать научную фантастику, а публикуете лишь серьезные эссе и очерки, посвященные, главным образом, проблемам, связанным с современной цивилизацией. Вы комментируете достижения науки и техники, затрагиваете социальные и политические науки, философию. И все равно в магазинах ваши книги стоят на полках с научно-фантастической или детской литературой.

— Ну что ж, в Польше меня по-прежнему считают писателем «для детей» — быть может потому, что «Сказки роботов» и «Повести о пилоте Пирксе» включены в школьную программу. Многие польские критики вообще не читали моих повестей и рассказов, заранее наклеив на меня этикетку с пренебрежительной надписью «фантаст». Зато в России меня знают как ученого, а вот в Германии, где я известен больше всего — больше, чем у себя на родине, — меня считают философом, и именно так меня определяет немецкая энциклопедия: «философ».

Я заметил, что придуманное мною в качестве научной фантастики стало теперь темой вполне серьезных научных работ из области физики, химии, биологии. А когда фантастические идеи из художественной литературы переходят в научные лаборатории, это значит, что само существование научной фантастики как литературного жанра теряет смысл. Что же мне оставалось делать? Меня не интересует фантастика как таковая (американцы называют этот жанр «fantasy»), то есть чистый вымысел, без какой-либо научной основы. Поэтому я и занялся эссеистикой. А потом услышал та-



кие комментарии, что, мол, Лем сбежал в космос от соцреализма и вернулся на Землю, когда соцреализм кончился.

Какая-то доля правды в этом есть. Можно сказать, что я сбежал в космос от цензуры и соцреализма, пытаясь заняться проблемами, которые не исчезнут вместе с падением политической системы. Тогда я и занялся научной фантастикой и благодаря ей постепенно вырвался на свободу.

— Для ваших последних книг характерны пессимистические настроения. У меня сложилось впечатление, что ваше отношение к окружающему миру пережило эволюцию от оптимизма, которым были насыщены такие ваши ранние повести, как «Астронавты» или «Облако Магеллана», через менее радостные, но хорошо кончающиеся истории о Ийоне Тихом или профессоре Трурле, вплоть до трагически звучащих последних повестей «Мир на Земле» и «Фиаско», из которых следует, что люди никогда не перестанут убивать и уничто-



жать друг друга. То же самое можно сказать и о ваших последних сборниках эссе — «Мегабайтовая бомба» и «Мгновение»: они переполнены опасениями относительно последствий развития информационных технологий и вообще относительно будущего рода человеческого.

— Что вам сказать... Когда я был молод, я был, если можно так выразиться, прагматическим оптимистом. Однако с возрастом я все отчетливее осознавал, как постыдно использует человечество достижения науки и техники. Люди открыли ядерную энергию — и тут же изобрели атомную бомбу и уничтожили целый город. Цивилизованные, демократические, прогрессивные страны продают смертоносное оружие странам Третьего мира. Был изобретен Интернет, который должен был стать хранилищем знаний человечества — а стал вместилищем глупости, мошенничества, воровства, порнографии, педофилии, злобных выходок. Телевидение во всем мире предоставляет безграничный простор насилию и убийствам. Мы расширяем границы познания — а вместе с ними и границы преступления. Как же мне писать, что все идет к лучшему в этом лучшем из миров, когда дело обстоит как раз наоборот?

— В своих последних книгах вы выражаете весьма прохладное, если не враждебное отношение к техническому прогрессу.

— Знаете, технический прогресс — как бритва: можно просто побриться, а можно и горло перерезать. Все плоды технического прогресса могут быть поставлены на службу людям, но могут стать и орудием убийства, и отравой. Ученые не отвечают за то, каким образом политики используют их открытия. Вот говорят, что американцы первыми высадились на Луне, а ведь дело там было вовсе не в Луне. Это была гонка чисто политического характера. Вся космонавтика — это побочный полезный продукт массового производства межконтинентальных баллистических ракет. Научный прогресс несет с собой как добро, так и зло.

— Не усматриваете ли вы конфликта между гуманистическим подходом с его идеалом общечеловеческих ценностей и подходом технологическим, где главным критерием является эффективность?

— Во-первых, сегодня довольно трудно было бы определить, что собственно означает само понятие гуманизма. Если, например, нам с вами бы-

ло бы сравнительно нетрудно прийти к общему мнению насчет общечеловеческих ценностей, то уже японец или, скажем, нигериец вполне могли бы с нами поспорить. Не следует забывать, что Европа — это еще не весь мир. Во-вторых, гуманистические идеалы не могут оставаться неизменными в потоке всеобщих перемен. Любые гуманистические идеалы останутся пустым звуком, если у них не будет поддержки общественной, а не рыночной. Сегодня мы наблюдаем, как приближается возможность манипуляций капиталом, особенно в области биотехнологий. К тому же информатика ускоряет процессы глобализации. Элитарной культуры практически уже нет — все становится элитарным, начиная с детективной литературы и фильмов ужасов, и кончая современной science fiction, которую я, кстати, просто не люблю. Все подтягивается под один ранжир, все рекламируется как продукт одинаково высокого качества.

— Лучшее — это то, что лучше всего продается, а лучший писатель — тот, кто больше всех заработает на своих книгах.

— Именно. Сегодняшняя ментальность ставит критерий количества выше критерия качества, а дату создания «продукта» переносит в область, где применимо понятие ценностей, по простейшей схеме: последняя модель автомобиля лучше модели трехлетней давности, холодильник этого года выпуска лучше прошлогоднего, а только что изданная книга лучше, чем книга, например, Жеромского. Тем более, что Жеромский давно умер...

Вы правы, в культуре наступила подмена критериев: диктат популярности — это диктат денег.

— По вашему мнению, смогут ли электронные СМИ вытеснить в будущем традиционную книгу?

— Нет. Пока будет существовать род человеческий, будут существовать и книги. «Галактика Гутенберга»* не находится под угрозой: за ней стоит огромная сила традиции, привычек. Электроника предлагает нам иной вид контакта — ви-



* В одноименной книге (1962) выдающийся канадский специалист по теории коммуникации М.Маклюэн (1911-1980) утверждал, что печатная книга обречена на исчезновение. Ему же принадлежит термин «глобальная деревня» (см. ниже), метафорически описывающий Землю, охваченную единой сетью СМИ. — Пер.



зуальный. Чтение в большей степени способствует мышлению — хотя, разумеется, людей, стремящихся к знанию, гораздо меньше, чем ищущих легкого развлечения. Направление развития электроники застало меня врасплох лишь постольку, поскольку я не ожидал, что электроника выбросит на рынок такое гигантское количество разнообразных игр, которые служат лишь для того, чтобы убить время; впрочем, этой же цели служат и дурацкие телевизионные передачи. «Убить время» — само выражение звучит жутко: самую суть нашей жизни мы готовы убить молотком, который называется «игра» или «телевидение».

— *Огромным успехом пользуются компьютерные игры и фильмы из разряда «научной фантастики». Что вы о них думаете?*

— Они отвратительны. С наукой они вообще не имеют ничего общего. Они показывают космос, где обитают, как правило, туповатые внеземные цивилизации, с которыми земляне ведут «звездные войны». Они представляют мироздание как невиданное побоище на почве межкультурных конфликтов с преступными пришельцами, а победителями обычно становятся разные Батманы, Спайдермены и т.п. Все это довольно грустно: космос полон загадок, а кинопродюсеры и создатели компьютерных игр в который раз пережевывают бредни о летающих тарелках и космических злодеях, потому что якобы именно этого ожидает рынок.

— *Интересно, верите ли вы в существование внеземных цивилизаций?*

— Космос, благодаря которому на Земле существует жизнь, в общем не слишком благоприятствует ее развитию, но нельзя исключать, что в других околозвездных планетных системах обитают какие-то «другие» — хотя необязательно способные к антропоморфным формам мышления и самопознания. К тому же контакт с такими существами, как мы, может быть им совершенно неинтересен. Лично я предпочел бы, чтобы мы были во Вселенной одни — хотя бы потому, что вести себя хуже, чем люди, просто невозможно. Людоедство, которое было характерно для наших предков, кажется сегодня не столь отталкивающим, если сопоставить с ним все, что мы знаем о современном мире. «Глобальная деревня» Маклюэна, в которую мы превращаемся, — это глобальное побоище. Нетрудно догадаться, что, обнаружив жизнь в космосе, мы довели бы дело до военного

столкновения и смертоубийства в космических масштабах.

— *Я вижу, что ваш пессимизм касается не только последствий технического прогресса, но и самой человеческой природы. В одном из эссе вы написали, что от других высших млекопитающих нас отличает не разум или культура, а ничем не оправданная жестокость и преступления.*

— Доказательством может служить вся история человечества. По геологическим часам, насчитывающим четыре миллиарда лет, человеческие культурогенные цивилизации существуют на протяжении лишь нескольких последних секунд, но даже за это мгновение человечество успело поставить под угрозу не только собственное существование, но и глобальную стабильность биосферы и климата.

— *Какое событие в вашей жизни поразило вас сильнее всего?*

— Трудно назвать какое-то одно важное событие, поскольку они происходили постепенно, незаметно, при взаимодействии множества факторов. Важным событием было то, что Польша вновь стала суверенным государством, и то, что рухнули все марионеточные режимы, существовавшие благодаря советскому протекторату. Во время «военного положения» в Польше я жил в Вене, и тогда я вычислил, что падение советского режима произойдет в первой четверти XXI столетия. Я основывал свои расчеты на экономических факторах: по американским данным, Советы тратили на вооружение около 12-15% валового национального дохода, но впоследствии оказалось, что на самом деле они тратили вдвое больше, чем и объясняется тот факт, что я ошибся в своем прогнозе. Ф.Фукуяма после падения советской империи радостно провозгласил наступление «конца истории», что я считаю полной глупостью. Как можно вообще говорить о конце истории? Как раз сегодняшний мир с точки зрения упорядоченности является гораздо более хаотическим, более непредсказуемым, чем тот, в котором были две сверхдержавы, создававшие силовое поле, — и все было ясно. Например, Израиль был «авианосцем» Соединенных Штатов, тогда как Советы ставили на арабов, и т.д. Сегодня все страшно усложнилось, везде царит хаос. Даже если и появляются какие-то коллективные санкции, как в истории с осуждением Йорга Хайдера,





то они не приводят ни к какому результату. Или, например, я уверен, что Горбачев вовсе не стремился к падению советского режима, но своей «гласностью» довел дело до такого конца. Мы увидели, как действует эта система, когда Горбачев пытался, в соответствии с римскими имперскими традициями, скрыть подлинные размеры чернобыльской катастрофы. Намерения у него были самые достойные. Вообще, намерения теперь у всех достойные. Взять, к примеру, партию «зеленых» в Германии, которая вынудила крупные концерны подписать с правительством соглашение, что они не будут пользоваться электроэнергией от АЭС. А ведь последний нефтяной кризис, который потряс весь Евросоюз, свидетельствует о том, что у нас нет иного выхода, как только постепенно переходить на атомную энергетику, потому что природные запасы топлива вскоре истощатся.

— Перспектива вступления Польши в ЕС вызывает у нас в стране самые разные реакции. Каково ваше отношение к европейской интеграции?

— Я считаю, что вступление в Европейский союз было бы для Польши полезно. Не потому, что Евросоюз — это такая замечательная штука, а потому что у нас в стране создалась нездоровая атмосфера. Особенно правые ведут себя как норовистая лошадь, которую надо вести под уздцы. Такие уздцы как раз и обеспечит ЕС: каждый должен понимать, что глобализация означает в определенной степени утрату суверенности. Вступление в ЕС неминуемо повлечет за собой определенные сдвиги в направлении, если можно так выразиться, обучения хорошим манерам в политической и интеллектуальной жизни. Все равно избежать вступления в ЕС невозможно. Есть такие процессы, которые невозможно повернуть вспять ни насильно, ни заклинаниями. Да если уж на то пошло, какой у нас есть выбор? Лукашенко или Путин — не слишком заманчивая альтернатива.



— Ускорит ли глобализация технический прогресс в Польше?

— Именно об этом нужно говорить, а не разбрасываться направо и налево популистскими лозунгами или ходить на задних лапках перед богатыми. Ведь Бальцерович не прав, когда говорит, что нужно заботиться о богатых, потому что они создают рабочие места. Далеко не все и не всегда. В первую очередь нам нужна передача передовых технологий. Мы должны стремиться догнать ведущие страны мира также в отношении технологий и промышленности, потому что иначе мы скатимся в положение страны Третьего мира. Россия, например, если бы у нее не было ядерного оружия, уже сегодня считалась бы страной Третьего мира. Факты говорят сами за себя: тамошний уровень жизни, декапитализация, жуткая история с «Курском»...

Внедрение современных технологий является для нас вещью абсолютно первостепенной, поскольку мы не можем играть роли европейского «Мухосранска» или заповедника старины. В этом отношении крупные инвесторы показывают нам, как вести торговлю, каковы современные методы строительства и т.д. Но есть здесь и отрицательные стороны: в обществе развиваются потребительские тенденции.

Трудно не согласиться с тем, что в капиталистическом обществе человек нередко становится дополнением потребительской стоимости товаров. Мы видим, как производители и рекламодатели искусственно создают новые потребности. Вывод отсюда такой, что «открытое общество», о котором мы мечтали, — вовсе не такое уж «открытое» и демократическое, потому что всем управляют деньги. То же самое происходит в культуре. Гигантский поток книг затопляет рынок и смывает в небытие огромное количество произведений, ранее пользовавшихся признанием.

Теперь нередко можно услышать: «ПНР — это черная дыра». Но ведь в то время было множество положительных явлений: была издана вся классика мировой литературы, причем сотысячными тиражами. Литераторы были элитой общества. А сегодня лишь немногие в состоянии зарабатывать себе на жизнь литературным трудом. Мое положение всегда было исключительным лишь в том отношении, что и во времена ПНР, и позже я был и остаюсь практически независимым от ситуации в Польше. Мои книги публикуются на 38 языках, и мне безразлично, издадут меня в Польше или нет, хотя я польский автор и хотел бы, чтобы польские читатели знали меня не только по книгам, вошедшим в обязательную школьную программу, хоть и это приятно. Но не будем говорить о моих



маленьких радостях. Мы оперируем такими понятиями, как гуманизм, потребленчество или заболелания, связанные с телевидением и Интернетом. Добавим сюда еще раздражающий «американский стандарт», общепринятый во всех телевизионных компаниях мира. Всех нас кормят пережванной американской жвачкой.

— *Но общество охотно на это соглашается. В том числе и интеллигенция.*

— А что собой представляет сегодняшний польский интеллигент? Раньше это понятие означало бы, что ему известны основные сведения из области истории, науки, культуры, что он знает, кто такой Ганнибал, слышал о Пунических войнах, о Габсбургах, владеет иностранными языками и т.д. Сегодня понятие интеллигенции стало неактуальным. Современные «интеллигенты в первом поколении» вышли из крестьян. Прежнюю интеллигенцию истребили Гитлер и Сталин, а недобитые — эмигрировали. Результаты ощущаются до сегодняшнего дня: уровень науки, культуры, политики — хуже некуда.

— *В сборнике эссе «Мгновение» вы заметили: «Далеко еще то время, когда кандидатов на высшие посты будут пропускать через экзаменационный фильтр, чтобы недаренных разносторонне индивидуумов направлять на общественные работы».*

— Я считаю, что так должно быть. Чтобы стать водителем грузовика в муниципальном ассенизационном предприятии, нужно обладать определенной квалификацией и сдать соответствующий экзамен. А чтобы стать президентом, не требуется ни знаний, ни профессиональной подготовки. Можно быть полной бездарью, важно лишь много кричать, организовать себе так называемую «политическую базу» и всем обещать журавля в небе. Давать обещания и выражать недовольство — это два наших любимых занятия. Однако следует признать, что хоть не все поляки — Эйнштейны, но они и не дурачки, которым можно всучить все что угодно, как полагают многочисленные политики.

— *Нетрудно догадаться, что вы невысокого мнения о наших политических лидерах...*

— Чистая правда. Я согласен с мнением Ежи Гедройца: всё это умы весьма косные, посредственные, склочные... Любопытно, что на заседаниях Сейма слова «культура» вообще не услышишь. Политика зачастую основывается на обыкновенной манипуляции общественным мнением, на стремлении навязать людям то, чего они совершенно не хотят. Поляки всегда были склонны вбивать людям в голову собственные идеи. Раньше я

не верил в существование национального характера, а теперь верю.

— *Какие же черты нашего национального характера вам особенно неприятны?*

— Склочничество, нетерпимость. Когда Ал Гор решил улучшить свой предвыборный рейтинг, он выбрал себе кандидатом в вице-президенты еврея, и это ему помогло. Если бы кто-нибудь сделал то же самое в Польше, то у него вообще не было бы никаких шансов. Мы слишком по-разному относимся к различным этническим группам. После того как Мария Домбровская побывала на кладбище в Монте-Кассино**, она сказала: «Здесь похоронена подлинная Речь Посполитая, ведущая свое начало от унии Польши и Литвы»***. Там лежали поляки, украинцы, православные, мусульмане, евреи, татары и т.д. А теперь у нас население — этнический монолит, и нам это не идет на пользу... В стране господствуют некомпетентность, партийная клановость, бешеные склоки, попытки поставить католицизм над другими конфессиями.

— *Вас возмущает возвышение католицизма? Почему же это не мешает вам печататься в «Тыгоднике повсехном»?*

— Я там печатаюсь, потому что этот еженедельник характеризуется высоким интеллектуальным уровнем и представляет наиболее открытое течение в польском католицизме. Но при этом мировоззрения «Тыгодника повсехного» я не разделяю.

— *Так каково же ваше мировоззрение? Из ваших эссе можно сделать вывод, что оно вполне материалистическое...*

— Я не верю в сверхъестественные истории, в загробную жизнь и т.п., но при этом вовсе не намерен воевать против Господа Бога. Я признаю, что в социальном аспекте людям нужна религия, как нужна им надежда на вечную жизнь, на встречу с дорогими их сердцу умершими, на вечное блаженство и т.д.

— *Вам тоже нужна такая надежда?*

— Нет, я неверующий. Это вопрос убеждений, к которым человек приходит самостоятельно. Я считаю, что каждому нужно оставить свободу выбора.

** Монте-Кассино — гора в Италии, где с января 1944 г. союзники безуспешно пытались взять немецкие оборонительные сооружения. В мае 1944-го 2-й Польский корпус взял неприступную крепость, понеся при этом тяжелейшие потери. — Пер.

*** Речь Посполитая (польский перевод латинского Res Publica, «общее дело») — официальное название объединенного польско-литовского государства со времен Люблинской унии (1569-1795). — Пер.



— *Как вы относитесь к Церкви?*

— Мне не нравится доминирующая роль католической Церкви, которая борется с различными сектами. Я понимаю, что она осуждает секты, призывающие к коллективному самоубийству. Но буддисты, последователи Харе Кришны, Далай-лама — все это замечательные люди, за что их осуждать? Или Церковь опасается конкуренции? Помоему, гораздо более здоровая атмосфера существует там, где различные религии сосуществуют на основе принципа равноправия, как в Америке.

Мне также не нравится связь государства с Церковью: я не люблю, когда Церковь вмешивается в политику. Забавно, что архиепископ Житинский недавно сказал, что Квасневский должен публично отречься от принципов ленинизма. Как будто он когда-нибудь исповедовал ленинизм! С ленинизмом он имел столько же общего, сколько и я, с той разницей, что я жил во Львове и был вынужден долбить марксизм в советском медицинском институте, а Квасневский самым банальным образом хотел сделать карьеру. Однако я бы не переоценивал роли Церкви в Польше. Заметьте, что когда Церковь пытается играть роль монопольного властителя дум всего народа, особой опасности в этом нет. Какой же из нее властитель дум, если большинство поляков пойдет в воскресенье в костел, а потом проголосует за Квасневского?

— *Признаюсь, для меня полная неожиданность, что вы интересуетесь политикой. Я думала, вы живете в мире науки, абстракции.*

— Я никогда не жил исключительно в мире звезд и атомов. Я внимательно наблюдаю за тем, что происходит в мире и внутри страны, в том числе и в политике.

Если же речь идет о мировоззренческой линии, то можете написать, что я в общем и целом разделяю позицию редакции «Пшеглэнда»****.

Я не знаю, что принесет Польше новое столетие. Я не хочу ничего придумывать и никому морочить голову. Я вовсе не преклоняюсь перед СДЛС и не считаю, что он поведет нас к светлому будущему и счастью. Я не думаю, что СДЛС —

образцовая партия. Просто мне кажется, что левые в Польше менее плохи, чем правые.

— *Не могли бы вы все-таки сказать нам, чего вы ждете от XXI века?*

— А вы полагаете, что я ясновидящий?

— *Не ясновидящий, но футуролог. В своей книге «Сумма технологий» уже 35 лет назад вы предвидели возникновение информационных сетей, эксперименты генной инженерии, в том числе клонирование, создание искусственного интеллекта, даже возникновение искусственной «фантоматизированной» (то есть виртуальной) реальности. Кстати, думаете ли вы, что виртуальный контакт может заменить подлинный, например, прикосновение человеческой руки? Рассказывают, что существуют виртуальные связи, виртуальный секс...*

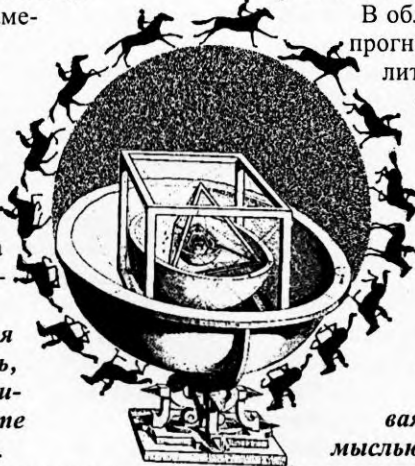
— Искусственный интеллект не обладает эмоциями. Сетевой автомат неспособен к сочувствию, нежности, он не окружит заботой умирающего, не утешит плачущего ребенка. Я уверен, что виртуальный контакт никогда полностью не заменит реального.

В области технологии еще можно что-то прогнозировать, труднее — в области политики. Хотя иногда и это удается. Несколько лет назад ко мне приехала группа немецких философов. В ходе беседы они задавали разные вопросы, в частности, о будущем. Я тогда сказал, что Германию будут осаждать нищие со всего мира, чтобы как-то туда пробраться, а Польша будет протекторатом Ватикана. И вот, пожалуйста: мои прогнозы сбылись.

— *Свой сборник «Мегабайтовая бомба» Вы заканчиваете мрачной мыслью: «Быть может, XXI век будет еще более жестоким, чем наше кровавое столетие. События первостепенные для всей планеты с трудом поддаются прогнозированию (как, например, распад СССР, триумфальные достижения биотехнологии или мировая сеть телекоммуникаций). Быть может, наш мир действительно бескрайний, а пропасти — стало быть, и края — создадим мы сами».*

— Создадим, наверняка создадим. Но у меня все же остается надежда, что мы до этого не доживем.

Беседу вела Эва Ликовская



**** Интервью с Лемом было опубликовано в еженедельнике «Пшеглэнд», близком к кругам Союза демократических левых сил (СДЛС). — *Ред.*



Виктор Кулерский

ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

Клаус Бахман: «Результаты всех последних выборов недвусмысленно показывают, что у популистов, националистов и демагогов в Польше меньше шансов, чем в некоторых западноевропейских странах (...) Похоже, что польское общество гораздо более сознательно относится к действительности, чем думают его собственные верхи. (...) начиная с 1990 г. потенциал противников демократии, противников прозападной ориентации во внешней политике и рыночной экономики уменьшается при каждом новом голосовании (...) Предвыборная кампания этого года была местами и смешной, и страшной (...) Какие механизмы, какие недостатки польской политической жизни привели к тому, что лауреат Нобелевской премии, былой нравственный авторитет, человек, на одну фразу которого Конгресс США стоя отечал несколькими минутами оваций, не сумел найти в политической жизни лучшего места, чем новый старт в выборах, сокративший его поддержку до уровня, какого достигают глупые демагоги, которым историки не посвящают даже сноски в будущих учебниках Польши?» (*«Жечпосполита»*, 10 октября)

«Президентская кампания лишь ненадолго затмила главного героя политической сцены — бюджет. Бюджет будет полем битвы в уже начинающейся борьбе за мандаты на предстоящих выборах в Сейм и Сенат (...) Утверждение бюджета превратится в пародию нормальной парламентской процедуры (...) политики будут развлекаться, вбрасывая виртуальные миллионы злотых в статьи расходов, зато для государства и экономики это может оказаться балом на «Титанике» (...) и снова самые крупные средства будут предназначены на ликвидацию последствий негативных явлений вместо ликвидации их причин (...) Подрывая бюджет пустыми обещаниями, политики, возможно, получат желанные мандаты. Избиратели, однако, могут лишь потерять: они будут расплачиваться повышением цен, безработицей, застоем, девальвацией сбережений.» (*«Впрост»*, 15 октября)

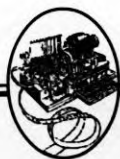
«Сотни миллионов злотых, истраченных на то, чтобы выбрать президента, по мнению многих депутатов местных органов самоуправления, — показатель неуважения центральной власти к общественным деньгам. К счастью, решения о судьбе местных общин принимает не президент. Они сами решают, что им делать, и выдвигают лидеров снизу. Вот они-то и есть настоящие президенты Третьей Речи Посполитой (...)

Сегодня в Польше есть 400-500 лидеров, которые за пределами центра, а часто и вопреки ему, приводят в действие механизм польских перемен. Местные деятели не интересуются большой политикой. Гминные советы не волнуются из-за президентских выборов и глупостей в верхах власти — их волнует, как успешнее построить очистительные канализационные устройства или привлечь капитал. В то время как госбюджет на протяжении десяти лет неизменно дефицитен, почти половина гмин в 1999 г. зарегистрировала бюджетный профицит или уравнивала доходы и расходы. Еще лучше справлялись со своими задачами уездные и воеводские органы самоуправления. Только 46 из 373 повятов и два из 16 воеводств подбили итоги года бюджетным дефицитом. Лидеров гмин и городов никто не привозит в портфеле. Их выбирают. Гмины — это будущее Польши.» (*«Впрост»*, 15 октября)

17 сентября, в годовщину нападения СССР на Польшу, во время переключки погибших и истребленных на Востоке, премьер-министр Ежи Бузек сказал: «На нас лежит долг создать будущее, исполненное прощения, заключить примирение поверх границ, достойное нового тысячелетия». Он добавил, что предательское нападение было ударом в спину Польше, сражавшейся с Германией, и началом адских мук для миллионов поляков, мук, уготованных «самой предательской и жестокой системой в истории человечества — коммунизмом». Молитвы за души усопших читали католические, православные, протестантские и иудейские священники. (*«Жечпосполита»*, 18 сентября)

Проф. Леон Керес, президент Института национальной памяти, во время торжественного открытия Катынского памятника во Вроцлаве: «Я с горечью хочу сказать, что у нас есть трудности с обнаружением находящихся в России документов, связанных с катынским преступлением.» (*«Жечпосполита»*, 23-24 сентября)

Рышард Капустинский на Конгрессе христианской культуры в Люблине: «Геноцид никогда не совершался в стране, где господствовала демократия. До сих пор она оказывалась единственной успешной защитой от геноцида (...) В очень редких случаях государство, представители которого были организаторами геноцида, признало свою вину. Так было в Германии (...) Правительство же Турции отрицает, что в этой стране были ис-



треблены полтора миллиона армян. Правительство России молчит о гибели 10 миллионов украинских крестьян. Пекинское правительство отвергает обвинения в убийстве 20 миллионов граждан в 60-е годы. И так далее». (*«Газета выборча», 18 сентября*)

☛ Поляк, который в годы войны принудительно работал в гитлеровских концлагерях, сегодня может получить компенсацию, достигающую 15 тыс. марок. Люди же, вывезенные в глубь сталинской империи и обреченные на каторжный труд, лишены надежды на хотя бы символическое удовлетворение. Создав компенсационный фонд, Германия фактически признала свою вину, что открыло путь к нормализации отношений. Такое признание представляет для России самый трудный барьер. После того как в 1939 г. была установлена новая советско-германская граница, в глубь СССР было вывезено полтора миллиона поляков. Ссылнопоселенцев, переживших этап, использовали на самых тяжелых работах. Сегодня «Союз сибиряков» в Польше едва насчитывает 80 тыс. человек. (*«Впрост», 17 сентября*)

☛ Отец Станислав Целестин Напюрковский, вернувшись с торжественного освящения католического кафедрального собора в Иркутске, сказал: «Во время пребывания в Иркутске я увидел другое лицо Сибири. От ее природы прямо дух захватывает. Это нормальный мир — всюду видны смеющиеся дети, молодежь с открытыми лицами. Я смотрел на людей, которые приехали на освящение из самых разных уголков. Боже, как они были счастливы!» (*«Тыгодник повсехний», 1 октября*)

☛ В Освенциме 61 год спустя вновь открыли единственную сохранившуюся синагогу. Начал действовать также Еврейский образовательный центр. В торжественном открытии участвовало иудейское и католическое духовенство, представители государственных и местных властей, послы Израиля и США. Михаэль Леван, автор проекта реконструкции, получил из рук президента Квасневского высокую государственную награду. (*«Газета выборча», 13 сентября*)

☛ Восьмое кладбище немецких военнослужащих, погибших в Польше во время II Мировой войны, открыто в Полесье близ Пулав (Люблинское воеводство). (*«Жечпосполита», 7-8 октября*)

☛ Колонны с дарами «Польского гуманитарного движения», организации, возглавляемой Яниной Охойской — это лишь первый этап помощи. Начинается создание постоянных миссий. Миссия в Косово должна помочь сербской и албанской общинам восстановить социальные учреждения; в Ингушетии миссия занимается детским садом в лагере беженцев; в Грозном — центром дневного пребывания детей, доставкой еды в

больницы, водозабором, который послужит и окрестным жителям; в Косово — городским лагерем для албанских детей и курсами английского языка в сербском районе; в Румынии — работой в детдоме. (*«Жечпосполита», 22 сентября*)

☛ Получение желанного статуса беженца в Польше означает лишь «высылку» просителей убежища за ворота приемного пункта. «Если Польша берет на себя какие-то обязательства, если вы в Европе, то относитесь к нам как к людям, а не как к скоту», — сказала одна чеченская женщина, находящаяся в центре беженцев в Дембаке под Варшавой. (*«Жечпосполита», 6-7 октября*)

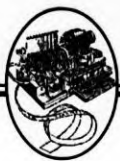
☛ Фонд, созданный польскими артистами, провел футбольный матч между польскими и русскими артистами. Доход, составивший 52,3 тыс. зл., будет передан осиротевшим детям команды подлодки «Курск». Деньги будут переведены на личные счета детей. (*«Жечпосполита», 22 сентября*)

☛ «Отец Глеб Якунин видит сходство между священниками Ежи Попелушко и Александром Менем не только в мученичестве, но прежде всего в пастырском рвении и миссионерском духе. А главное — в том, что их кровь не пролита понапрасну (...) Если когда-нибудь произойдет его [о. Александра] канонизация, это станет торжеством христианства. Не православия и не католичества, ибо «святые принадлежат всей Церкви Христовой». Это будет день истинной славы России». (*«Тыгодник повсехний», 17 сентября*)

☛ Зияхидин Мамажанов, 50-летний киргиз, совершавший путешествие в карете из Киргизии в Париж, проехав 7 тыс. километров, застрял на польской границе, так как лошадям из Киргизии въезд в Польшу и в Европейский союз запрещен. Однако управление сельскохозяйственного имущества Государственного казначейства одолжило ему польских лошадей, и Мамажанов доехал до немецкой границы, откуда продолжил путешествие на лошадях, одолженных одним немецким фермером. (*«Газета выборча», 11 сентября и 3 октября*)

☛ Умер Войцех Хас, создатель кинофильмов «Рукопись, найденная в Сарагосе» по Яну Потоцкому и «Санаторий под клеписдрой» по Бруно Шульцу. «Вот и ушел еще один человек из поколения, которое сумело отвергнуть злободневность и создать образы, выходящие за рамки мелких будничных забот; из поколения, которое многое пережило и умело задавать вопросы», — написала Барбара Холлендер. (*«Жечпосполита», 4 октября*)

☛ Проф. Вацлав Вильчинский: «Наименьшая доля людей с высшим образованием среди стран, готовящихся к вступлению в Европейский союз, — это, конечно, пе-



чаль нашей истории, а прежде всего — последствия гекатомбы II Мировой войны. В то время как чехи, венгры и словаки спокойно учились в своих университетах, мы теряли цвет молодежи и интеллигенции». («Впрост», 10 сентября)

❏ Кшиштоф Занусси: «Примитивность — это отсутствие открытости по отношению к другим людям. Думать о себе, под себя и ни о чем другом — основа всякого варварства (...) История учит нас, как легко перейти от культуры к варварству и как долго приходится после этого восстанавливать культуру (...) Мы — те счастливики, которым после гекатомбы войны и сталинских лет удалось сохранить хотя бы часть традиций (...) самоотречения, службы великому делу и широкому обществу, высокому благу, — все это сегодня действительно стоит спасать». («Газета выбора», 30 сентября — 1 октября)

❏ По проведенным обследованиям, свыше 70% поляков не понимают таблиц и простых текстов, и только 7% способны читать сообщения прессы с полным пониманием. Всего 2% студентов — родом из деревень и маленьких городков. («Впрост», 10 сентября)

❏ Роберт Стиллер: «Польский язык может разделиться на недоязык троплодитов и сверхязык культурных людей (...) Не будем питать иллюзий, что польский язык связывает нас как общий язык поляков (...) Статистическое большинство слышит и понимает лишь малую часть того, что мы пытаемся им передать (...) Подумайте, пожалуйста, сколько раз мы с кем-то разговариваем — вроде бы по-польски, вроде бы на общем языке, понятном обеим сторонам, — а получается словно разговор глухих». («Жечпосполита», 12 октября)

❏ В супермаркете «Хит» один килограмм книг (в т.ч. словари, справочники, беллетристика, детская литература) стоит 4,99 зл., а килограмм туалетной бумаги — 44,90 зл. («Жечпосполита», 29 сентября)

❏ Кшиштоф Ковальский: «В античности возникла аристократия наделенных тайным знанием, в Средние века — аристократия по рождению, в XIX веке — аристократия разбогатевших, а сейчас, на демократическом этапе всемирной истории, на протяжении 100-200 лет возникнет аристократия «говорящих» [на иностранных языках]. Мир поделится на тех, кто знает языки, и всех прочих». («Жечпосполита», 12 октября)

❏ Бывший министр обороны Януш Онышкевич: «Трудно командовать солдатами, которые с трудом читают, а при этом должны отвечать за снаряжение, стоящее много миллионов. Как дать оружие солдату, зная, что на гражданке он уже успел войти в конфликт с законом? Быстрых успехов ожидать трудно» («Газета выбора», 6 сентября)

❏ Вот уже десять лет как государственные вузы делают вид, что проводят реформы, дабы сохранить свои привилегии, т.е. получать 99% государственных средств, предназначенных на высшее образование. Они обеспечивают себе финансовую безопасность вне зависимости от вкладываемого труда. В этих вузах попросту сохранилась структура государственных предприятий. Главная расходная статья их бюджетов — зарплата. К этому прибавляется феодальная структура кадров, практически не подлежащая никакому контролю. («Впрост», 24 сентября)

❏ В полтора с лишним тысячах негосударственных школ в прошлом году было свыше 117 тыс. учащихся. Стоимость обучения здесь составляет от 200 до 1000 зл. в месяц. («Жечпосполита», 11 сентября)

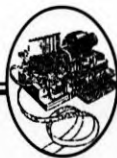
❏ Новая технология превосходит возможности учителей. Только 10% из них имеет дома компьютер и умеет пользоваться Интернетом. Доля «интернавтов» среди учащихся по крайней мере в три раза больше. Все чаще школьник, пользующийся ресурсами сети и своим умом, знает больше, чем педагог. Доступ к Интернету есть у 35% молодежи в возрасте 15-19 лет, из них 32% пользуются ресурсами сети.

❏ Объявление: «Запиши учителя! Внимание, школьники! Объявляем конкурс! Запишите на магнитофон самые поразительные наставления учителей, выберите 3-5-минутный фрагмент и пришлите нам на кассете. Лучшие — напечатаем (разумеется, без фамилий), записи поместим в Интернете, а авторов наградим рюкзаками «Солидарны с верблюдом»». («Газета выбора», 22 сентября)

❏ Скоро бессонница станет одним из самых серьезных недугов поляков. Бессонницей страдают почти 40% поляков, а люди, которые постоянно не высыпаются, в полтора раза чаще других пропускают работу по больничным листам, реже продвигаются по службе и чаще оказываются жертвами несчастных случаев. («Жечпосполита», 27 сентября)

❏ Впервые за 11 лет возросла мобильность поляков. В 1999 г. почти полмиллиона человек сменили место жительства. Главная причина этого — работа. В поисках работы люди готовы сделать все, что угодно, в т.ч. и переехать в другой город — что еще недавно было редкостью. («Впрост», 1 октября)

❏ Регулирование труда и его объема государством имеет такой же смысл, какой имела бы инструкция министерства о расцветке носков или длине соленых огурцов. Ограничение прав рынка всегда обходится дорого. Заработать на этом могут лишь публикаторы объявлений в рубрике «Ищу работу». («Впрост», 24 сентября)



✚ На одно место сверхсрочной армейской службы претендуют в среднем 10 военнослужащих срочной службы. На место в погранохране — 14 кандидатов, в полиции — 10-12, в таможенной службе — 10-20. За последние несколько лет число кандидатов на места в этих службахросло примерно на 20% в год, а в прошлом году оно выросло более чем на 50%. Мундир и связанная с ним карьера чрезвычайно ценятся в бедных странах: они позволяют уменьшить различия социального статуса, гарантируют большие заработки и социальную защищенность. (*«Впрост»*, 8 октября)

✚ Пять лет назад положительное отношение к армии выражал 31% подростков. В 2000 г. этот показатель среди учащихся старших классов возрос до 58%. Этот рост — прежде всего результат вступления Польши в НАТО и перемен в самой армии. В военных училищах огромный конкурс. В лицеях увеличивается число военных классов. Растет число подростков, которые проходят военное обучение в частных ассоциациях. Это значит, что чем быстрее Польша получит профессиональную армию, тем лучше она будет обучена, так как среди кандидатов можно будет проводить отбор по положительным критериям. (*«Впрост»*, 3 сентября)

✚ В некоторых воинских частях число новобранцев, которые до призыва были безработными, достигает 60%; тех, у кого есть опыт приема наркотиков, — 30%; бывших осужденных — 10-30%. (*«Жечпосполита»*, 2 октября)

✚ «Хранение любого количества наркотиков подлежит наказанию», — постановил Сейм, ужесточая существовавшее законодательство. (*«Тыгодник повсехный»*, 1 октября)

✚ Торговая инспекция установила, что уже не 24, а только 17% молочных изделий — плохого качества. К этому добавляется 4% некачественных смесей животного и растительного масла. (*«Газета wyborча»*, 7 сентября)

✚ Представители Европейского союза и Польши подписали договор о свободной торговле сельскохозяйственными товарами. Теперь польские фермеры увеличат экспорт в ЕС и смогут быстрее реструктурировать сельское хозяйство; фермеры из ЕС будут больше экспортировать в Польшу, а падение цен на продовольствие поможет уменьшить инфляцию. (*«Тыгодник повсехный»*, 8 октября)

✚ На автострате, ведущей в Ганновер, полиция задержала транспорт лошадей из Польши. У животных, тесно набитых в автофургоны, были сломаны кости, содрана кожа, так что виднелись красные полосы мяса. 10 лошадей в особенно плохом состоянии были добиты на месте. На итальянской таможне за покаленных и неполноценных животных берут более низ-

кую пошлину, поэтому их калечат умышленно. (*«Жечпосполита»*, 7 сентября)

✚ В связи с многочисленными угонами скота с пастбищ и из хлебов один полицейский предложил животноводам повесить на коров передатчики спутниковой навигационной системы. (*«Впрост»*, 24 сентября)

✚ Разведением страусов в Польше занимается около 300 человек. Каждый год забивается 200 страусов. Чтобы удовлетворить спрос, их следовало бы забивать по несколько тысяч. Для того, чтобы начать их разведение, требуется менее 10 тыс. злотых. Один птенец стоит 800-1000 зл. Необходима «беговая дорожка» длиной 50-60 метров. Для разведения улиток достаточно 25 кв. м, температуры 18-23°, влажности 85-95% и освещения по 16 часов в сутки. Разведение улиток, начинающееся с 500 штук, приносит в год ок. 500 кг массы стоимостью ок. 13 тыс. зл. Переработкой улиток занимаются четыре предприятия. (*«Впрост»*, 8 октября)

✚ 50 млрд. долларов капиталовложений в целом, в т.ч. 11-12 млрд. долл. прямых капиталовложений поступят в Польшу в текущем году. Этот год будет рекордным. Первое место занимают инвесторы из Франции, второе — из США, третье — из Германии. (*«Газета wyborча»*, 27 сентября)

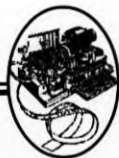
✚ Сейм создал должность генерального инспектора финансовой информации. Банки, обменные пункты, маклерские бюро, пенсионные фонды будут обязаны регистрировать все подозрительные транзакции, а также транзакции, превосходящие 10 тыс. евро. Инспектор будет собирать о них сведения и предоставлять их следственным и судебным органам. (*«Жечпосполита»*, 13 октября)

✚ В текущем году в списках инвестиционного риска Польша передвинулась на два места вниз. Польские фирмы оцениваются сурово: даже Центральный банк в рейтингах получает оценки ниже, чем до сих пор. (*«Жечпосполита»*, 4 октября)

✚ После последнего раунда переговоров с Европейским союзом Польша передвинулась на последнее место в первой шестерке кандидатов. (*«Впрост»*, 15 октября)

✚ Вчера курс злотого был самым низким за четыре месяца: за доллар платили почти 4,6 зл., за злотый — только 21,8 цента. К главным причинам этого относятся события в Южной Корее («Форд» отказался купить концерн «Дэу») и растущие цены на горючее. (*«Жечпосполита»*, 20 сентября)

✚ «Хотели как лучше, получилось как всегда», — этими знаменитыми словами В.М.Черномырдина предприниматели из «Бизнес-центр-клуба» подвели итоги деятельности правительства в сфере налоговой ре-



формы и формирования бюджета. (*«Газета wyborcza»*, 30 сентября — 1 октября)

✚ Лешек Бальцерович: «В польской политике есть любопытная закономерность: чем больше то или иное решение расходится с благом государства, тем громче его сторонники утверждают обратное». (*«Впрост»*, 8 сентября)

✚ 2 млн. поляков не едят мяса. В каждом крупном городе есть вегетарианские рестораны. В Варшаве есть два вегетарианских детских сада. (*«Впрост»*, 24 сентября)

✚ Каждый год в Польше пропадает около 15 тыс. человек. Свыше 50% находятся спустя несколько дней, 20% — через несколько недель, 10% — через несколько месяцев. Полиция ежегодно устанавливает места пребывания свыше 6 тыс. пропавших. Однако несколько сот человек в год пропадают без вести, и нет никакой возможности даже установить, живы ли они. Еще несколько тысяч никто не ищет: ни родные, ни друзья. (*«Впрост»*, 15 октября)

✚ По данным правительственного доклада в прошлом году в Польше был сделан 151 аборт. Федерация в защиту женщин и семейного планирования оценивает число аборт на 200 тысяч в год. Закон, запретивший аборты, не только не ликвидировал прерывания беременности, но даже не привел к уменьшению их числа. Нелегальное прерывание беременности стоит 1500-3000 зл. (*«Жечпосполита»*, 7 октября)

✚ В 1980 г. лица старше 60 лет составляли в Польше 13% населения, в 1990-м — 15%, в 1999-м — 16,6%. (*«Впрост»*, 24 сентября)

✚ Ежегодно в Польше умирает ок. 400 тыс. человек. Оборот на рынке погребальных услуг достигает 1,5-2 млрд. злотых. За эти деньги сражаются свыше 2,6 тыс. похоронных бюро. Случалось, что за покойником приезжали катафалки трех разных фирм. Останки Марианны Р. из Вроцлава неоднократно перекладывались из одного гроба в другой. Бой закончился после того, как гроб съехал по лестнице, а тело выпало и остановилось лишь у дверей квартиры этажом ниже. В своих сражениях за доступ к телу конкуренты поджигают похоронные бюро и катафалки, подкладывают бомбы, подкупают врачей, работников скорой помощи и прозекторов. (*«Впрост»*, 24 сентября)

✚ В варшавских трубах сети отопления, бункерах и железнодорожных туннелях живет по крайней мере 5 тыс. человек, а по всей стране — свыше 20 тысяч. Из них 3% — это люди, выброшенные из дому по решению о выселении; около 10-15% — бывшие работники госхозов и жильцы рабочих общежитий. Есть среди них и бывшие предприниматели, философы, инженеры. Они

просят милостыню, «управляют движением» на неохраняемых автостоянках, собирают макулатуру и лом, иногда занимаются воровством в супермаркетах. Сами себя они называют свободолюбцами. Городские жители называют их крысами, кротами, клошарами и т.п. (*«Впрост»*, 24 сентября)

✚ Среди бездомных растет число убийств. Идет суровая борьба за существование, за выживание. В их мире 5-7 злотых — богатство, за которое можно купить хорошую дозу дешевой выпивки. Причиной убийства может стать, например, кража собранных бутылок или банок, приготовленных на продажу. (*«Газета wyborcza»*, 9-10 сентября)

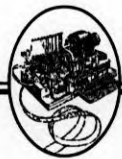
✚ С начала года в Куявско-Поморском воеводстве возбуждено свыше 160 дисциплинарных расследований по делам сотрудников полиции. (*«Жечпосполита»*, 16-17 сентября)

✚ На семинаре, прошедшем в Праге, эксперты Всемирного банка констатировали, что Польша относится к средне коррумпированным странам. Уровень коррупции в Польше выше, чем в Венгрии или Хорватии, но намного ниже, чем в России, Азербайджане или Киргизии. (*«Жечпосполита»*, 26 июня)

✚ Отныне сумма штрафа не может назначаться по усмотрению дорожной полиции. Это должно уменьшить коррупцию в ее рядах. Согласно новому ценнику штрафы за некоторые нарушения таковы: переход улицы в неположенном месте — 20 зл.; переход улицы или трамвайных путей вблизи пешеходного перехода — 50 зл.; езда без ремня безопасности — 70 зл.; перевозка ребенка без детского сиденья — 70 зл.; разговор водителя по сотовому телефону во время езды — 100 зл.; за то, что водитель не пропустил машину, включающуюся в движение, — 200 зл.; за то, что водитель не пропустил пешеходов на пешеходном переходе, — 400 зл.; за превышение скорости — в зависимости от степени превышения 50-500 зл. (*«Жечпосполита»*, 26 сентября)

✚ Польша проиграла в Европейском суде по правам человека шестой процесс по жалобе на затягивание судопроизводства. Предприниматель, который с 1987 г. не мог получить судебного решения по делу о разделе своей фирмы, получит от государства 25 тыс. зл. компенсации. (*«Газета wyborcza»*, 22 сентября)

✚ Вчера был день памяти св. Франциска Ассизского. По этому случаю в некоторых церквях священники благословляли животных. «Благословляя животных, мы желаем им добра, — сказал один священник. — Славя животных, мы прославляем Бога Творца. Дети — а чаще всего животных приносят они — учатся относиться к ним как к своим друзьям». (*«Газета wyborcza»*, 5 октября)



Двое молодых людей, которые развлекались тем, что отрубили щенку лапы, хвост и, наконец, голову, приговорены к году и трем месяцам тюрьмы каждый. В обосновании приговора районный суд в Сохачеве записал: «Обвиняемым чуждо представление о том, что животное испытывает страдания». (*«Впрост»*, 17 сентября)

Из письма в редакцию: «Дурное обращение с живыми существами вплоть до садистской жестокости... Все мы можем за это поплатиться. Тот, кто обижает беззащитное существо, будет плохо влиять на молодое поколение, будет обижать людей». (*«Жечпосполита»*, 22 сентября)

Из письма в редакцию: «Не только с животными в Польше обращаются дурно. Я часто наблюдаю на улице, как крохотный плачущий ребенок тянет руки к матери, а она отталкивает его или бьет. К детям часто относятся как к недочеловекам, и никого не волнуют их страх и боль. И это все более распространяется (...) Так бывает повсюду: дети плачут в больницах, яслях, детских садах, школах (...) малыши способны проплакать целый день (...) Из окна до меня доносятся крики матерей, неспособных разговаривать со своими детьми. Они только бранятся, и грубые ругательства морозят кровь в жилах, когда я знаю, что они обращены к двухлетнему ребенку». (*«Жечпосполита»*, 16-17 сентября)

Жертвами инцеста становятся в Польше свыше 30 тыс. детей и около 4 тыс. взрослых в год. Большинству жертв 6-12 лет. (*«Впрост»*, 1 октября)

Во время конференции «Насилие в семье» педиатры и психиатры сообщили, что около 10% детей подвергаются избиениям, в том числе ногами; иногда детей забивают насмерть. Ученые бьют тревогу: жестокое насилие в польских семьях растет из года в год и касается уже не только «патологических» семей. (*«Газета wyborча»*, 16-17 сентября)

В 1958 г. в Польшу привезли бобров из Воронежского заповедника. Бобры мигрировали также из Калининградской области. Сейчас в Польше около 12 тыс. бобров — их отправляют в Великобританию, чтобы восстановить вид, который там был полностью уничтожен 700 лет назад, в XIII веке. (*«Жечпосполита»*, 14 сентября)

В докладе «О состоянии лесов в Польше» за 1999 г. констатируется улучшение состояния лесов: улучшаются их возрастная и видовая структура, санитарное состояние, снижается уровень заболеваний. Однако опасность древесных заболеваний остается одной из самых высоких в Европе. Загрязнение воздуха, воды, почвы; засухи, наводнения, насекомые и грибы — вот главные причины древесных заболеваний. (*«Жечпосполита»*, 20 сентября)

На 86% польских производственных предприятий нет устройств по снижению газового загрязнения. Мы занимаем позорное второе место среди главных «отравителей» Европы. (*«Жечпосполита»*, 11 сентября)

Выброс пыли и окислов серы в пересчете на одного жителя Польши составляет соответственно 14,4 кг и 67,7 кг. В Европейском союзе эти показатели — 1,9 и 31,3. Чрезмерно загрязненные воды составляют 97,6% общей протяженности рек. Вод первого класса чистоты не отмечалось уже много лет. Польша больше всех прибалтийских стран отравляет Балтийское море. (*«Впрост»*, 10 сентября)

Всемирный фонд охраны природы (WWF) воспротивился строительству дамбы на Висле и двух плотин на Одре. Обе реки принадлежат к редким в наше время в Европе нерегулируемым рекам и представляют собой бесценные экологические коридоры. Европейский союз отказался финансировать эти проекты, но готов финансировать альтернативные проекты, одобренные WWF, который предупредил Польшу, что строительство плотин на Висле и Одре может затормозить прием Польши в Евросоюз. (*«Жечпосполита»*, 20 сентября)

Геолог Томаш Ежикевич, ученый, открывший причины гибели динозавров на территории нынешней пустыни Гоби, прогнозирует: «Нарастающее уничтожение природной среды человека вызывает опасения, как бы и наш вид не разделил судьбу динозавров (...) Некоторые динозавры избежали гибели, превратившись в птиц, — они просто выпорхнули из среды, которая была уже непригодна для жизни. Я задумываюсь: удастся ли и роду человеческому куда-нибудь «выпорхнуть?»» (*«Жечпосполита»*, 21 сентября)

Марцин Круль
Рышард Легутко
Александр Смоляр



УГРОЖАЕТ ЛИ НАМ ТИРАНИЯ СВОБОДЫ?

В 7/8 номере «Новой Польши» мы писали о Суде над XX веком, который проходил по инициативе краковского еженедельника «Тыгодник повшехный». Весной этого года в том же Кракове Центр политической мысли организовал конференцию «Свобода на пороге III тысячелетия». Предлагаем Вашему вниманию фрагменты трех выступлений, которые несомненно близки к тематике «Суда над XX веком».

Марцин Круль: *Оставь надежду навсегда*

«Свобода — вещь настолько прекрасная, что я не могу себе представить, чтобы ее было чересчур много», — пишет Токвиль в одном из своих писем Артюру де Гобино. Начиная свои рассуждения, я сразу, чтобы в дальнейшем не было недоразумений, хочу заметить, что я на сто процентов согласен с Токвилем.

Бенжамен Констан в эссе «Свобода античная и современная» отличает публичную свободу, характерную для древних, от свободы в новом понимании — частной, — присущей людям Нового времени. Это один из узловых моментов в истории либеральной мысли — определить либеральную свободу как свободу частную и то, что мы называем частной свободой, ценить превыше всего. Констан сформулировал следующую проблему: если мы столь высоко ценим частную свободу, то не начнем ли мы замыкаться в частной жизни, пренебрегая участием в публичной, что противоречило бы философским принципам демократии?

Что меня особенно поразило, так это то, что идея частной свободы очень быстро стала центральной идеей именно в Польше. Иными словами, польское общество очень быстро стало по преимуществу либеральным. Разумеется, после 1989 г. в Польше быстро строилась политическая демократия. Чрезвычайно быстро были введены в действие основные механизмы демократии, что нетрудно, — это произошло уже спустя полгода после политического перелома. Были введены честные выборы, сняты ограничения на участие в публичной жизни. Но с тех пор в Польше не сделано ни одного дополнительного шага по пути развития демократии.

Одним из решающих в этом факторов стало именно господство духа либерализма. Еще раз подчеркиваю: я не считаю, что это само по себе плохо, но здесь возникает противоречие между стремлением к максимуму частной свободы и чувством долга, повелевающим участвовать в политическом сообществе.

Индивидуальная предприимчивость не переносится автоматически на развитие сообщества. Либеральные экономисты во главе с Фридманом плохо прочли Адама Смита, который был в большой степени моралистом. Для него «невидимая рука рынка» имела глубоко нравственную функцию, формировала политическое сообщество. Современная система неолиберального капитализма не способствует построению политического сообщества, но лишь порождает максимальную конкуренцию между отдельными личностями, что противоречит какому бы то ни было представлению об общности.



Рышард Легутко: Не всякая цена неизбежна

Мне хотелось бы обратить внимание на некоторые механизмы и способы мышления, которые формируют «тиранию свободы». В первую очередь необходимо отметить роль традиций в политической и общественной жизни. Так уж повелось, что общественные традиции становятся предметом нападков во имя свободы. Джон Стюарт Милль именно в традициях видел источник различных опасностей, деспотизма, нетерпимости. Этот аргумент, безусловно, небезоснователен. Есть в традициях нечто такое, что нас поработает. Однако традиции имеют и большое положительное значение. Отнюдь не открытие — констатировать, что в современном обществе роль традиций ослабевает. В связи с этим следовало бы ожидать, что коль скоро ослабевает роль традиций, то расширяется сфера свободы. На самом же деле она иногда расширяется, а иногда и не расширяется, так как на место традиций, которые управляли нашими взаимоотношениями, организовывали нашу жизнь и способы взаимопонимания, приходит нечто иное. Приходит закон, и приходит идеология.

Если говорить о присутствии закона, то это, казалось бы, хорошо и достойно поддержки. Но вместе с тем в современных обществах мы сталкиваемся с разрастанием закона, с гиперлегализмом. Поскольку традиции все больше ослабевают, закон в нашей жизни становится вездесущим. Теперь начинают решать почти все споры с помощью закона, в том числе и споры между учителями и школьниками, между членами семьи и т.д. Появляется также идеология, которая все явственнее присутствует в мышлении современных обществ.

Как это выглядит в польской действительности? Если говорить о преувеличенном легализме, то, похожему, в Польше он еще не столь опасен. Скорее у нас господствует ощущение бессилия закона. Мы не удовлетворены состоянием законов и их исполнением, деятельностью судов.

Зато в Польше появились различные идеологии, которые обещают урегулировать межчеловеческие отношения на всех уровнях, вплоть до языкового. В 1989 г., когда пришел конец коммунизму, мне казалось, что еще очень долго идеологическое мышление в Польше не будет популярным, ибо ПНР достаточно отбила к нему охоту. Но этот мой прогноз оказался совершенно неверным. Человек ощущает потребность так или иначе организованного мышления. Идеологии прекрасно удовлетворяют эту потребность на самом примитивном уровне.

Следует вспомнить также об одном механизме, природа которого лежит в интеллекте или сознании. Некоторое время назад в Польше появился влиятельный образ мыслей, который меня сразу очень встревожил. Он сводится к следующей аргументации: коль скоро мы имеем свободу, то должны принять и ее негативные стороны. Это верно как общий принцип, но, выдвигаемый при возникновении любой реальной проблемы, требующей решения или урегулирования, этот аргумент приводит к определенному квиетизму и параличу воли. Всякую патологию начали объяснять как неизбежную цену свободы.

Александр Смоляр: Свобода в реальном времени

Название нашей дискуссии поначалу меня удивило. Тем более удивило, что в июне вместе с американским фондом «Фридом хауз» я организую большую конференцию в Варшаве. Это должен быть всемирный форум, посвященный демократии, организаторы которого, в соответствии с американским духом оптимизма, собираются торжествовать по поводу успехов демократии в глобальном масштабе. Я пытаюсь несколько умерить их энтузиазм, подбрасывая разнообразные сомнения, но дух царит совсем иной. Поэтому подобный контраст меня весьма заинтересовал. И так же, как Рышард Легутко, я хотел бы поразмышлять о самой возможности формулировать понятие «тирания свободы».

Проблема тирании свободы сегодня возникает в более широком, глобальном понимании. Это проблема уже упомянутого Мартином Крулем господства рыночных механизмов над политическими, которые в период расцвета «государства благосостояния» регулировали и ограничивали экономические сво-



боды. Если мы рассмотрим бунт против глобализации, хотя бы так, как он проявился в беспорядках в Сизтле и Вашингтоне, то это бунт против определенной автоматизации экономических механизмов, которая ведет к дальнейшему наращиванию привилегий уже и без того привилегированных групп. Так по крайней мере толкуют этот бунт те, кто считает себя жертвами глобализации. От глобализации выигрывают отнюдь не развивающиеся страны, а авторы определенных идеологических истолкований.

Мы имеем также дело с довольно серьезной тенденцией, согласно которой необходима глобализация в политическом масштабе, которая позволила бы создать институты контроля, уравнивающие уже идущую экономическую глобализацию. Это позволило бы контролировать и уравнивать ту скрытую тиранию рынка, которая сама контролирует и определяет судьбу государств, народов, граждан. У подобной идеи, наверное, есть будущее. Уже видно, как под ее влиянием меняется язык таких учреждений, как Всемирный банк и Международный валютный фонд. Язык развития преобразовался в язык помощи бедным, в язык выравнивания диспропорций и смягчения напряженности.

Не забудем, что в Польше были весьма распространены взгляды Стефана Киселевского, которые сводятся к лозунгу «за шиворот к свободе», причем под свободой понимался капитализм со свободным рынком. Замысел подобного призыва был таков: чтобы построить рыночную экономику, то есть создать условия свободы, необходим некоторый авторитаризм. Есть решения, которые необходимо навязать. И многие польские политики заявляли о необходимости насильственных преобразований, даже если по пути пришлось бы подавить «бунт масс».

Следует сказать еще об одном факторе — о масс-медиа. Сегодня часто используется термин «демократия мнений». Это иное определение той же «тирании свободы». Средства массовой информации формируют и навязывают не только взгляды, но и государственную политику. Я не критикую, а анализирую: такова истина.

В условиях демократии надо уметь подумать, уметь строить некую иерархию информации. Когда-то вышеупомянутый Адам Смит писал, что нас больше волнует наш больной палец, чем судьба миллионов китайцев, погибших, например, от извержения вулкана. Он имел в виду нашу отдаленность от информации, которую мы получаем по прошествии времени, когда уже не можем эффективно отреагировать, ни на что не можем повлиять. Такая отдаленность приводила к большей стабильности эмоций и откликов, что делало и демократические институты более стабильными.

Сегодня демократия дестабилизирована еще и тем, что мы получаем информацию со всего мира и реагируем на нее в реальном времени. А те, кто принимает решения, по существу вообще лишены свободы. Они не могут принять решение с учетом иерархии важности отдельных событий, но тем не менее вынуждены реагировать. Колоссальное давление избирателей возникает, как только они видят в реальном времени хотя бы одного убитого. Демократия вместе с полнотой информации ограничивает выбор властей предрешающих, им становится все сложнее вводить какой-либо иной режим свободы, иной способ ее регулирования (...)

ŻYCIE

Марцин Круль — редактор журнала «Res Publica Nowa», автор монографий, посвященных польской консервативной мысли, и книги «Либерализм страха, либерализм мужества».

Рышард Легутко — консервативный философ и публицист. В последнее время издал сборник эссе «О хитрых временах и мнимых истинах».

Александр Смоляр — президент фонда им. Стефана Батория, т.е. один из важнейших меценатов польской интеллигенции.



ПОИСКИ «АНТИ-КАТЫНИ»

Интервью Вацлава Радзивиновича с Борисом Носовым

Вацлав Радзивинович: *Насколько память о польско-большевистской войне 1920 года еще жива в сознании русского народа?*

Борис Носов: Что значит «еще»? Ее никогда и не было. Если вы выйдете сейчас на улицы Москвы и, не уточняя, что речь идет о 1920 годе, спросите десяток случайных прохожих, что они знают о польско-советской войне, то каждый посмотрит на вас с удивлением и скажет, что со времен Ивана Сусанина русские с поляками не воевали. Кто-то, может, вспомнит еще о польских восстаниях. В любом случае польско-большевистской войны 1920 г. в памяти русских не существует.

— *Ее предали забвению?*

— Нет, ее и не существовало. В 20-х гг. официальная пропаганда говорила о походе Антанты против Советской России. Постоянно повторяли известный тезис о 14 государствах, войска которых участвовали в гражданской войне на стороне белых. Среди этих 14 стран была и Польша. Наравне с греческими, французскими, английскими и другими войсками. С самого начала официальная советская пропаганда избегала подчеркивать, что в 1920 г. велась война между Польшей и советской Россией. Для советских людей это был только один из эпизодов «гражданки». Конечно, дипломаты или военные историки писали работы на тему битвы под Варшавой или Рижского мирного договора, однако, они были предназначены специалистам и до широкой общественности не доходили.

— *Но везде в обиходе было и до сих пор остается слово «белополяки».*

— Да, конечно, «белополяки» и «белые паны». Однако мы должны отдавать себе отчет в том, что — хоть, может, звучит это немного парадоксально — в сознании советского народа эти слова не были тесно связаны с конкретным народом или государством. Это были определения из арсенала классовой борьбы. В 20-х гг. и позже люди помнили, что среди классовых врагов были и Врангель, и Деникин, и «белополяки». В 30-х, с нормализацией советско-польских отношений, пропаганда еще сильнее подчеркивала, что польский народ — наш друг. Друг, угнетаемый правящими верхами — «пилсудчиками». Но «мы» поддерживаем борьбу польского народа против угнетателей, мы поддерживаем польских коммунистов. При таком раскладе упоминаний о недавней польско-большевистской войне быть не могло.

— *У нас, однако, говорят, что Сталин ненавидел поляков как раз за поражение, которое потерпела Советская Россия в 1920 г., что, смотря оперу Глинки «Иван Сусанин», он наслаждался сценами, где гибнут поляки.*

— Эта байка известна и у нас. Думаю, что она ничего общего с действительностью не имеет. Сталин был человеком скрытным и необычайно прагматичным. Свои чувства он выражал только тогда, когда это уже было совершенно необходимо, служило достижению какой-либо конкретной цели. Я не знаю, зачем ему нужно было бы проявлять эмоции, смотря «Ивана Сусанина». Единственным периодом, когда сталинской пропаганде могли пригодиться воспоминания о польско-большевистской войне, был 1939 год, когда нужно было обосновать захват советскими войсками половины вашей страны. Но это продолжалось недолго, а значит, существенного отклика в народном сознании оставить не могло.

— *Дмитрий Rogoжин, председатель думской комиссии по иностранным делам, недавно мне сказал, что в то время, когда Польша входила в состав советского лагеря,*



о войне 1920 г. не вспоминали, чтобы не провоцировать ответной реакции — вопросов о Катыни. Это так?

— Не думаю. Тогда советская пропаганда ставила себе целью «укрепление дружбы» между нашими народами и государствами, и, значит, не было смысла говорить о таких неприятных эпизодах, как польско-большевистская война. Она в то время была просто обречена на забвение. Возьмем учебники истории 50-80-х гг. Самое большее, что мы в них найдем, — этакий небольшой стандартный подраздел «Советско-польская война 1920 г.». И прочтем там, что правящие круги Польши по наущению Антанты развязали войну с Советской Россией. Польские войска заняли Киев, а Красная Армия, покончив с Деникиным и Колчаком, бросила свои главные силы против «белополяков», армия Тухачевского двинулась к Висле, что закончилось неудачей. Поэтому советское руководство решило заключить мир. Это все, больше ничего не было. Историки тоже не занимались вопросами, связанными с той войной.

— Исследования были запрещены?

— Нет. Однако на них не было и спроса. Если бы кто-нибудь написал об этой войне статью и попробовал ее опубликовать в каком-нибудь историческом журнале, редактор бы спросил: «А зачем? Все давно уже известно». Как тот арабский военачальник, который приказал поджечь Александрийскую библиотеку, мотивируя это тем, что не может в ней быть ничего хорошего и полезного, чего уже не сказано в Коране. Если мы обратимся к библиографии работ советских историков, касающихся польско-большевистской войны 1920 г., то найдем там прежде всего... работы на тему событий 1938-1941 гг., в которых нельзя было не сказать двух слов о Рижском мире — о том, откуда взялась загадочная линия Керзона, по обе стороны которой в сентябре 1939 г. остановились захватывавшие Польшу войска Сталина и Гитлера. О той войне говорилось также в работах по истории Коминтерна, так как в них шла речь о мировой революции. Но все, что в Советском Союзе писалось о Коминтерне, подвергалось особо строгой цензуре.

— Во второй половине 80-х знаменитая статья Юрия Афанасьева, ныне ректора Российского государственного гуманитарного университета, в журнале «Коммунист» положила начало дискуссии о «белых пятнах» в истории Советского Союза. Началась она с Катыни, а затем перешла на польско-большевистскую войну. В чем причины такой последовательности?

— Катынское дело вызвало в то время огромный интерес в советском обществе. И речь здесь шла не столько о самом

Из статьи
Петра Покровского
«Морозом и саблей»

(«Парламентская газета», апрель 2000)

...расстрелы в Медном и Харькове (в отличие от Катыни [?! — Ред.] эти факты установлены) производились по решению судебных органов — пусть это были недемократические «тройки», но получается, что речь шла не о расправе по этническому или классовому принципу. Так за что же расстреливали поляков? (...) После вступления в Пинск [во время войны 1920 г.] по приказу коменданта польского гарнизона на месте, без суда были расстреляны около 40 евреев, пришедших для молитвы. Эту группу якобы приняли за собрание большевиков. (...) ...начальник штаба генерала Листовского с характерной фамилией Гробицкий... хвастался, как в его офицерской компании распорол живот красноармейцу, зашили туда живого кота и побили об заклад, кто первый подойдет — большевик или кот. Причем такие эксцессы носили массовый характер. (...) Не правда ли, было бы кощунственно не осудить и не расстрелять такого «боевого офицера», как пан Гробицкий. Именно таких особо отличившихся представителей «офицерской элиты», оказавшихся в наших руках в 1939 году, расстреляли в Медном.



Из статьи
Анны Белоглазовой
и Ивана Напреенко
**«Россия чтит память
невинно убиенных»**

(«Независимая газета», 1 августа 2000)

...Однако, несмотря на слова примирения, сказанные высокопоставленными чиновниками на открытии мемориала [в Катыни 29 июля], в отношениях между Россией и Польшей остается немало недосказанности и скрытой обиды. Ведь страницы российско-польской истории орошены кровью не только польских офицеров, расстрелянных в Катыни и сосланных в Сибирь, но и кровью более 80 тыс. русских солдат, погибших в Тухоли, Пулавах, Щелково, Барановичах и в других лагерях Юзефа Пилсудского во время советско-польской войны 1920 года. И если под Катынью создан мемориал, куда приезжают делегации с обеих сторон почтить память жертв, то красногвардейцам, погибшим в лагерях от голода, болезней и зверского обращения польских охранников, до сих пор не воздвигнуто ни одного памятника.

преступлении в Катынском лесу, сколько об общем контексте эпохи незадолго до войны СССР с Германией, о союзе Сталина с Гитлером, о лжи официальной пропаганды. В эпоху перестройки, в период обличения сталинского режима, люди были ко всему этому особенно восприимчивы. Поэтому катынское дело оказалось тогда настолько важным. И тогда же появилась мысль, что надо найти «анти-Катынь».

— **Кто ее высказал первым?**

— Этого, я думаю, мы никогда не узнаем. Может быть, где-то в политбюро или в кабинетах президиума Академии наук состоялось совещание и было принято решение, что непременно нужно найти «анти-Катынь», какое-то позорное польское пятно в истории отношений с советской Россией. А может, такого совещания и не было, может, никакой секретарь и не говорил, что нужно предпринять ответные шаги. Но мы в Москве схватывали на лету, что в данный момент нужно начальству, что ему может пригодиться. И на рубеже 80-90-х возникла идея «анти-Катыни»: у нас начали писать о войне 1920 г., прежде всего о судьбе красноармейцев, оказавшихся тогда в польском плену и будто бы замученных в лагерях. Говорилось о 40 тыс. убитых, заморенных голодом, умиравших из-за отсутствия лекарств.

— **Дело военнопленных стало олицетворением идеи «анти-Катыни»?**

— Да, хотя эта идея не имеет абсолютно никакого будущего.

— **Почему?**

— Красноармейцы действительно умирали в польских лагерях из-за отсутствия лекарств, продовольствия. Возможно, действовавшие под свою ответственность начальники некоторых лагерей приказывали расстреливать непокорных военнопленных. Но никоим образом не доказать, что политика польских властей предусматривала уничтожение военнопленных, что кто-то сознательно принял решение об их ликвидации — так, как это было с убийством польских офицеров в 1940 году. Не скрыть того, что в Польше в начале 20-х гг. из-за отсутствия медикаментов умирали не только советские военнопленные. Страна была разрушена войной, медикаментов, продовольствия на всех не хватало — и для солдат, и для гражданского населения.

— **Но люди гибли в лагерях. Их родственники, потомки имеют право узнать, почему и как это случилось?**

— О чем вы говорите? Какие потомки? Кто сейчас знает в России, что его дед или прадед погиб в 1920 г. в Польше? Тогда никто не посылал извещений о смерти. Семьи могли догадываться, что отец, сын погиб на одном из фронтов «гражданки». Может, в Крыму, может, на Дальнем Востоке, а мо-



жет — на Висле. А если бы кто и знал, что его близкий не вернулся из польского плена, то наверняка предпочитал бы об этом молчать. Ведь, может, этот родственник остался в Польше добровольно, а в таком случае родные могли иметь с советской властью только серьезные неприятности. Существует еще одно большое различие между польской Катынью и нашей «анти-Катынью». В 1940 г. НКВД расстреляло цвет польской интеллигенции. Их вдовы воспитали, учили детей. Потомки убитых — это и сегодня польская элита. Их дети и внуки также занимают то самое место в обществе. Память о Катыни, как хвост за кометой, будет тянуться на протяжении поколений. А красноармейцы, которые двинулись в 1920 г. на Вислу, — это прежде всего мобилизованные крестьяне. Для своих командиров они были лишь пушечным мясом. Родные никогда не узнали, что с ними произошло, никто уже сегодня их не помнит. Так что их потомки не требуют никаких объяснений.

— По-вашему, сейчас нельзя сказать, кто придумал идею «анти-Катыни». А кто сегодня является ее носителем?

— Здесь нужно обратить внимание на те проблемы, которые в данный момент существуют между Россией и Польшей. Вступление вашей страны в НАТО, сочувствие к чеченцам, которое проявляют поляки, высылка дипломатов одной и другой страны, хулиганские выходки у дипломатических представительств. Из всего этого тоже рождается идея «анти-Катыни».

— Она представляет собой орудие, нужное правящей верхушке России?

— Еще раз повторю: никто открыто не скажет, что ему нужна «анти-Катынь», никто не отдаст распоряжения ее выискивать. Но сегодня это висит в воздухе. В начале июня в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), бывшем Главном архивном управлении при правительстве СССР, состоялось совещание историков, на котором мы услышали, что правительство Российской Федерации выделило деньги, чтобы специальная комиссия расследовала судьбу красноармейцев, взятых в 1920 г. в польский плен. Главой комиссии, в которую включили и меня, назначен директор ГАРФа Владимир Козлов, чиновник в ранге министра.

— Чем должна заниматься эта комиссия?

— Изучить архивы, собрать документы, опубликовать их. Это то, что мне известно. ГАРФ уже обратился к польской стороне с просьбой об источниках, и мы их уже получили.

— А как будут использованы собранные вами документы? Rogozhin говорил мне, что по делу военнопленных, возможно, будет проведено следствие, подобное расследованию по катынскому делу.

— Что станет с результатами нашей работы, решать будем не мы, а министерство иностранных дел.

— А когда правительство приняло решение выделить деньги на расследование дела военнопленных?

— Весной этого года. Как раз тогда в Польше начали отмечать годовщину катынской трагедии. Эти два факта между собой как-то связаны. Никто об этом, ясное дело, не говорит, я могу только догадываться.

— Почему же тогда вы решились работать в этой комиссии?

— Смею вас заверить, что, работая в ней, я буду до конца стоять на том, что результаты нашей работы не должны дать повода к развязыванию политической акции. Сбор документов, их публикация всегда полезны. Благодаря этому историкам проще добраться до истины. И мы должны идти в этом направлении, не давая втянуть себя в игры в «анти-Катынь».

Интервью взято при участии Олега Панфилова

gazeta

Борис Носов — историк, специалист по польско-российским отношениям, заместитель директора Института славяноведения Российской Академии наук.



Збигнев Карпус

ФАКТЫ О СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ В 1919-1921 гг.

В последнее время в некоторых российских газетах появляются статьи о мнимой гибели большинства красноармейцев, попавших в польский плен во время войны 1919-1920 гг. (например, статья А. Тулеева, опубликованная в «Независимой газете» от 6 октября 2000 г.). В связи с этим «Новая Польша» публикует ответ видного польского историка профессора Збигнева Карпуса. Надеемся, что объективизм этой статьи, не скрывающей тяжелого положения советских военнопленных, пресечет попытки дезинформировать общество свободной России, направленные на то, чтобы представить Польшу в качестве дежурного врага. Мы убеждены, что российские историки, серьезно занимающиеся этим вопросом, охотно создадут комиссию при участии своих польских коллег, которая исследует проблему до конца и устраним все сомнения. Мы совершенно уверены, что работа такой комиссии не встретит в Польше никаких препятствий. (Ред.)

В результате каждого вооруженного конфликта, кроме жертв и разрушений, возникает проблема военнопленных. Это, естественно, касается и польско-советской войны 1919-1920 годов.

Первые бои польских и советских частей произошли в середине февраля 1919-го. В течение всего первого года войны военные действия велись не слишком интенсивно: обе стороны были заняты другими проблемами. В связи с этим число военнопленных, захваченных поляками, было незначительным. В ноябре 1919 г. в Польше находилось всего 7096 советских военнопленных. Как и украинцы, попавшие в плен во время более ранних боев за Львов и Восточную Галицию, они были размещены в лагерях в Стшалкове (между Слупцей и Вшесней),

Домбе под Краковом, Пикулицах под Перемышлем, Брест-Литовске, Ланьцуте и Вадовицах. Лагеря эти не строились специально в связи с военными действиями против Советской России. Польша унаследовала их от владевших ее территориями Германии и Австрии, которые построили лагеря во время I Мировой войны

Вскоре после прибытия первых групп советских военнопленных в польских лагерях возникли эпидемии инфекционных заболеваний (сыпного, брюшного и возвратного тифа, краснухи, холеры, гриппа), преимущественно занесенных с фронта самими пленными. В результате в 1919 г. самое тяжелое санитарно-эпидемиологическое положение сложилось в лагере, расположенном в Брестской крепости. Ввиду плохих условий этот лагерь через несколько месяцев был закрыт, а советских военнопленных перевели в другие лагеря. По сохранившимся данным, в Брестском лагере от инфекционных заболеваний умерло больше тысячи военнопленных. В результате усилий польских властей, в частности депутатов польского Законодательного сейма, которые контролировали все лагеря, в первые месяцы 1920 г. условия жизни военнопленных заметно улучшились. В лагеря неоднократно приезжали делегации польских и международных благотворительных организаций. Их доклады и отчеты, сохранившиеся в польских архивах, показывают, в каких условиях находились в польских лагерях военнопленные разных национальностей.

Начавшиеся в апреле 1920 г., в ходе польского наступления на Киев, польско-советские бои на Украине не повлияли на рост числа военнопленных в польских лагерях. В этих боях было захвачено в плен около 18 тыс. красноармейцев, но лишь немногих из них поляки успели отправить на запад, в тылы, — большин-



ство было отбито Первой Конной армией под командованием С.Буденного. В частности, только в занятом буденновцами Житомире было освобождено более 5 тыс. красноармейцев.

И лишь после битвы под Варшавой, где в плен (до 10 сентября 1920 г.) попало около 50 тыс. красноармейцев, число советских военнопленных в Польше существенно возросло. Следующие польские победы еще более увеличили их численность. После завершения военных действий на Восточном фронте (18 октября 1920 г.) на территории

Польши было в общей сложности около 110 тыс. советских военнопленных. Эту цифру, опираясь на статистику, приводит Ю.Пилсудский в своей книге «1920 год». Между тем М.Н.Тухачевский в своем докладе (добросовестно включенном Пилсудским в книгу) говорит только о 95 тыс. пропавших без вести и попавших в плен. Это, однако, чисто теоретические подсчеты, относящиеся только к первому времени,

ибо многие военнопленные (около 25 тысяч), едва попав в плен или недолго пробыв в лагере, поддавались агитации и вступали в русские, казачьи и украинские армейские группировки, которые вместе с поляками воевали с Красной армией. Это были армия генерала Станислава Булак-Балаховича, 3-я российская армия генерала Бориса Перемыкина, казачья бригада Александра Сальникова, казачья бригада есаула Вадима Яковлева и армия Украинской Народной Республики. Названные части и после заключения советско-польского перемирия продолжали воевать самостоятельно, пока не были оттеснены на территорию Польши. Следует отметить, что военнопленные не всегда руководствовались одними лишь идейными побуждениями. Подавляющее большинство просто стремилось как можно скорее выйти из лагеря. Многие из них, едва попав на фронт, возвращались

в ряды Красной армии. На основании сохранившихся польских архивных материалов можно установить, что поздней осенью 1920 г. в Польше находилось не более 80-85 тыс. советских военнопленных. Половина из них находилась в лагерях для военнопленных, остальные работали на государственных предприятиях либо у частных лиц (в основном в сельском хозяйстве).

За короткий срок после завершения военных действий польская сторона была не в со-



стоянии обеспечить надлежащие санитарно-бытовые условия такому числу военнопленных. Польша была сильно разрушена недавней мировой войной, а помощь, за которой она обращалась к другим странам, в частности к Франции и США, не была ей предоставлена. Поэтому санитарное и продовольственное положение лагерей, где находились советские военнопленные, было плохим, особенно в конце 1920 — начале 1921 гг. (в зимние месяцы). Это привело к новой вспышке эпидемий инфекционных заболеваний, от которых умерли многие пленные. В источниках, однако, нет никаких данных, на основе которых можно бы заподозрить польские власти в сознательной политике, направленной на то, чтобы заморить голодом либо прямо истребить советских военнопленных. Уже с февраля 1921 г. в результате серьезных усилий польских военных и граж-



данских властей положение в лагерях начало резко улучшаться.

В середине марта 1921 г. начался обмен военнопленными между Польшей и Советской Россией, долго ожидаемый и откладываемый, притом отнюдь не по вине польской стороны. Советская делегация в Риге во главе с А.Иоффе тянула с подписанием соглашения об обмене военнопленными, подготовленного еще в конце декабря 1920 г., и подписала его лишь в середине февраля 1921-го. Обмен военнопленными продолжался до середины октября 1921 г.: в Россию было отправлено 65 797 военнопленных, в Польшу вернулось 26 440. В Польше оставалось еще 965 советских военнопленных, которые должны были служить польским властям гарантией возвращения всех попавших в плен польских офицеров. В начале 1922 г. эта группа тоже была отправлена по домам. В соответствии с польско-советским соглашением обмен военнопленными происходил на добровольной основе. Возможностью остаться в Польше воспользовались около тысячи советских военнопленных, изъявивших желание остаться в письменном виде, после чего их освободили из лагерей. Кроме того, около тысячи пленных красноармейцев: латышей, немцев, венгров и австрийцев — выразили желание вернуться в свои страны. В результате договоренностей польских властей с соответствующими дипломатическими представительствами и эти пленные были отправлены на родину.

Учитывая вышеназванные документальные данные, можно сказать, что в польском плену на протяжении всех трех лет (февраль 1919 — октябрь 1921) скончалось не больше 16-18 тыс. советских военнопленных: около 8 тысяч — в лагере в Стшалкове, до 2 тысяч — в Тухоле и около 6-8 тысяч в других лагерях. Утверждение, что погибших было значительно больше — 60, 80 или даже 100 тысяч, — нелепое преувеличение, не опирающееся ни на какие достоверные источники.

Еще сегодня вызывает споры и бурно «озвучивается» российскими историками и публицистами вопрос о числе советских военно-

пленных, скончавшихся в лагере в Тухоле. Авторы многих российских публикаций утверждают, что там умерли 22 тыс. красноармейцев, и называют этот лагерь «лагерем смерти». Печатавая такие «откровения», российская сторона не задается простым вопросом: возможно ли, чтобы такое множество военнопленных умерли за столь короткое время их пребывания в Тухоле? В этом лагере советские военнопленные находились только с конца августа 1920 г. до середины октября 1921-го. Такая высокая смертность (в среднем больше 2 тыс. человек в месяц) неизбежно была бы зарегистрирована в армейских и административных документах, местной печати, отчетах представителей польских и международных благотворительных организаций, которые часто посещали лагерь в Тухоле, наконец, в кладбищенских документах. Из сохранившихся документов вытекает вполне определенный вывод: в Тухоле за год пребывания умерли, в основном от инфекционных заболеваний, самое большее 1950 военнопленных. Утверждения российских авторов превосходят эту цифру более чем в 10 раз.

Лиц, скончавшихся в польских лагерях, хоронили на отдельных, расположенных поблизости кладбищах. На протяжении всего периода между I и II Мировыми войнами польские военные и гражданские власти заботились об этих могилах. Их огородили, привели в порядок, поставили скромные памятники и кресты. Они сохранились по сей день, и в случае необходимости можно провести эксгумацию погребенных там советских военнопленных. Тогда можно будет очень точно установить число военнопленных, скончавшихся в отдельных польских лагерях, и развеять связанные с этим сомнения российской стороны.

Следует также напомнить, что во время войны 1919-1920 гг. в советский плен попали более 40 тыс. солдат и офицеров Войска Польского. В Польшу в результате обмена военнопленными вернулись всего лишь 26,5 тыс. человек. Поэтому необходимо, не откладывая дела в долгий ящик, выяснить, что случилось с остальными польскими военнопленными.



Богдан Скарадзинский

КРАСНЫЕ КАЦАПЫ И ПОЛЬСКИЕ ПАНЫ

Мой одноклассник, ставший потом известным русистом, ныне покойный Анджей Дравич рассказывал такую историю о первых часах своего пребывания в Москве. Очутился он в общежитии, среди стипендиатов из Польши. Те при встрече подвергли его багаж такому тщательному досмотру, что брестским таможенникам и не снилось. Искали не какую-нибудь там литературу, а отечественные напитки. Кой были молниеносно найдены. И тут же продегустированы. А поляки, знамо дело, как выпьют — давай песни петь. И неважно, что это была отборная элита польского «комсомола»: в самом центре русской столицы на всю округу громко рифмовалось: «мерзкие» — «советские»...

Но тут же из коридора — ответный удар. Не милиция и не НКВД, а девичьи голоса. О «псах-атаманах», «польских панах» и саблях Конармии. А известно, как русские женщины умеют петь хором! Пришлось нашим проглотить обиду. И отложить в сторону суть исторических споров. Состоялось знакомство. Остатки были допиты вместе «за дружбу». Мой школьный друг потерпел в этом инциденте самое сокрушительное поражение — вскоре одна из вокалисток стала его женой. (Пани Вера, кланяюсь вам с этих страниц в пояс, по-казацки!).

Подобный же уровень диалога предлагают «Парламентская газета» и «Независимая газета». Казалось бы, серьезная пресса. Но все по-старому, словно ничего не изменилось ни в России, ни в Польше, ни в мире. Незнание реалий: в школе-то не учили, а в первоисточники заглядывать неохота. А вдобавок наглость (впрочем, не знаю, как и назвать оправдание геноцида в Катыни, Харькове и Медном). Говорить не с кем.

Другое дело — историк Борис Носов из российской комиссии по выяснению судьбы красноармейцев, попавших в 1920 г. в польский плен. Я бы придрался только к дате: а как же красноармейцы 1919 года? Ведь именно тогда поляки впервые взяли Вильно и Минск вместе с немалым числом военнопленных. Остановились они лишь на наполеоновской Березине. Почему — история особая... Два разгрома Красной Армии в 1920 г. — на Висле и на Немане — переполнили польские лагеря, но этим «проблема военнопленных» отнюдь не исчерпывается.

Борис Носов в беседе с Вацлавом Радзивилевичем разворачивает такую панораму исторических сведений, что это побуждает к предметной дискуссии. Не только потому, что Носов дезавуирует идею «анти-Катыни». Хотят политики еще раз погрязнуть в махинациях и стать посмешищем — их дело. Они ведь даже не пытались и не пытаются отыскать у нас эти (мнимые) массовые захоронения своих соотечественников, убитых выстрелом в затылок. Почти полвека были для этого все условия, да и сегодня, я полагаю, с польской стороны в этом должно быть оказано всяческое содействие.

Однако мне не в чем упрекнуть Носова, когда он описывает условия существования русских военнопленных в Польше. Увы, условия были действительно ужасны, вели к высокой смертности; и не думаю, чтобы у нас было сделано все, чтобы масштабы трагедии свести к минимуму. Мы легкомысленно хвалились тем, сколько тысяч русских взято в плен, но ни в статистических отчетах, ни в газетах никто и не заикнулся о том, сколько среди них тяжелобольных и тяжелораненых; а ведь такие и гибнут прежде всего. В польском сознании отсутствует сама проблема нашей ответственности за этих людей. Мы легко отпускаем себе грехи на том основании, что и наших военнопленных в России, в том числе больных и раненых, тоже в 1920 г. не очень-то жаловали. Достаточно прочесть «Дневник 1920» Бабеля, полный описаний того, как расправлялись с польскими пленными на поле боя. Случались подобные жестокости и с нашей стороны, но они, по крайней мере, встречали осуждение командования, в частности Казимежа Сикорского, будущего премьер-министра.

Как великодушно удостоверяет Борис Носов, условия существования в Польше действительно были в то время крайне тяжелыми. Что же говорить об условиях солдатской службы? По нашим официальным данным, потери среди военнослужащих составляли: 19,8 тыс. убитых, 27,2 тыс. умерших «от ран и болезней», 115,8 тыс. раненых, 407,9 тыс. больных... За весь период 1919-1920 гг. Обычная простуда или боль в животе не регистрировались. Речь идет о последствиях эпидемий инфекционных болезней при плохом обмундировании и обуви, недостатке лекарств и вообще слабой медицинской службе. Сравнения с другими европейскими армиями говорят



сами за себя. Если мы и собственную армию надлежало содержать не могли, то что уж говорить о военнопленных. Но моральная проблема остается.

Так же, как и с неприятельскими кладбищами. Не так давно правительство оказалось в затруднении, когда канцлер Германии захотел возложить венки на могилы польских и немецких солдат. Но откуда в Польше немецкие могилы? Немцам легко объяснить любые наши беды — мы ведь все никак не выберемся из коммунистических руин, — но объясниться по поводу отсутствия в Польше немецких могил просто глупо. Что-то там сымпровизировали, скорее всего, не без мистификации, и вот год назад газеты с гордостью сообщили, что под Щецином создано... первое немецкое военное кладбище. Не исключено, что с немецкой денежной помощью.

Русских могил и кладбищ в Польше, казалось бы, немало, но странная вещь... Все они парадные, напоказ, одно — в самом центре Варшавы. Это плод сервиллизма коммунистических властей, а не христианских чувств поляков. И вовсе не выражение благодарности за «освобождение» от фашистского ярма, ибо его всего лишь заменили на большевистское. Трагедия молодых русских, положивших здесь свои жизни, столкнулась с трагедией покоренных силой и хитростью поляков, которым над Вислой выпало жить.

Лакейство организаторов таких кладбищ простирается так же далеко, как и злополучная русская манера... В парадных могилах лежат русские солдаты, погибшие в боях (в том числе с польскими партизанами и подпольщиками). Но вся штука в том, что наша земля хранит едва ли не больше останков русских военнопленных, убитых немцами, нежели тех, кто пал с оружием в руках. Для первых не строили никаких кладбищ. Так же, как и на всей территории бывшего СССР. Как будто в России неизвестно, что «солдат своей судьбы не выбирает». Перед нами имперская пропаганда, а не дань уважения людям, пожертвовавшим собой ради других людей.

В свое время я долго искал в окрестностях Варшавы русские могилы 1920 года. Была большая битва, есть польские кладбища, наши тоже стреляли... не косточками от слив. Но ничего я так и не нашел; «святая земля» поглотила все, потому что никто об убитых врагах вовремя не позаботился. А позднее — не позаботились и «польские» власти русского разлива, стыдись, как видно, что тогда, в 1920-м, еще не удалось... А ведь речь о сотнях и тысячах погибших под Радзимином и Осовом, на реке Нареве и Вкре, на Висле, под Влоцлавеком, Цехановом, Плонском и Млавой. Это укор польским властям и обществу: в загоне, во-первых, обычная человеческая порядочность, во-вторых, историческое и воспитательное значение памяти.

На кладбище крепости Модлин был момент, когда я уже готов был крикнуть «Эврика!». Длинные ряды добротных бетонных православных крестов с надписями кириллицей: имя, отчество, фамилия, место рождения погибшего — как правило, далеко в глубине святой Руси, где-нибудь за Волгой, ближе к Уралу. К сожалению, это I Мировая война. И все это — трудами императорского «управления военных захоронений 9-й германской армии». Когда немцы в 1915 г. захватили обращенный в руины Модлин, им захотелось «орднунга», и они не пожалели ни работы, ни цемента. Конечно, у «белых» русских, даже если б они захотели, не было времени так позаботиться о своих павших.

Но нельзя ту польско-русскую войну сводить сегодня только к кладбищенским сюжетам. Пока еще нигде — ни на Волге, ни на Висле — как следует не обсуждалось специфическое польское участие в русской гражданской войне. В том самом незабываемом 1919-м... Осенью того года действия поляков могли решить исход схватки красных и белых. Чашы весов колебались, но тут поляки продемонстрировали свой нейтралитет, что привело к поражению Деникина. Так что можно сказать: Польша Пилсудского действием проголосовала в пользу большевиков и коммунизма.

Мне кажется, суть выступления Бориса Носова сводится к тому, что события 1919-1920 гг. в России совершенно неизвестны и в масштабе общества не поняты. Нет общественной потребности в распространении таких знаний. Внимание людей без остатка поглощают текущие проблемы. Если и дойдет дело до публикации документов о военнопленных в Польше, то она будет прочитана лишь узкой группой специалистов, которые и так ничего нового из нее не узнают. Это уже не приведет ни к ухудшению, ни к улучшению отношений между поляками и русскими. Опыт важного эпизода русско-польского сотрудничества, увы, останется, по-прежнему мертвым.

В Польше дело с этим обстоит не лучше, хотя иначе выглядят причины. Катынь, Харьков, Медное — вопрос общественно закрыт после того, как открыты соответствующие кладбища. Для поколения детей и внуков людей, которые там убиты, это еще может какое-то время оставаться личной заботой. Двусмысленность поведения русских в данной ситуации никого даже не удивляет. Да, они раскрыли захоронения, но с максимальной сдержанностью во всем, что касается выводов из трагедии. Конечно, 20 тысяч расстрелянных поляков — что за потрясение, если не потрясает даже память о 20 миллионах собственных загубленных земляков... Жаль. Не нужно Польше русского покаяния; катынское дело дало воз-



возможность переосмыслить и пересмотреть правила взаимоотношений с соседями. Прежняя практика порождает только несчастья с обеих сторон.

Полякам тоже не дают покоя текущие заботы и не слишком ясное будущее. А к давно минувшему 1920 г. они предпочитают подходить идиллически: как-никак он увенчан победами на Висле и Немане и «вечным» Рижским миром. У нас молчат о том, что этот мир и двадцати лет не продержался. Никто не вспоминает о том, что для Белоруссии и Украины «Рига» означала аннексию их земель. Совместно с большевиками, чтобы уже вскоре их «освобождал» Иосиф Сталин вместе с Адольфом Гитлером. В Польше и сегодня мало кого интересует, как на практике выглядит независимость Белоруссии и Украины. Господи помилуй! А ведь уже по крайней мере с 1920 г. всем в Польше должно быть известно, что, пока белорусские и украинские дела не повернутся хотя бы так же, как литовские, латвийские и эстонские, наши шансы на «мир с Востока» и выгодное сотрудничество на этом направлении вилами на воде писаны.

Публикация материалов русской комиссии по вопросу о судьбе их военнопленных в Польше (а ее председатель имеет ранг министра) была бы полезна и для поляков, если бы она могла заинтриговать наше общественное мнение. Хотя бы тем фактом, что мы — и тогда, и сегодня — не безгрешны и не «единственно правы». К сожалению, на это нет никаких шансов. Я не вижу возможности глубоко задеть своих соотечественников даже тем фактом, что вот, мол, русские снова нас чернят и оскорбляют. Тут же, рядом с новыми кладбищами в Катыни, Харькове и Медном. У нас пожмут плечами, а эрудиты напомнят, что уже бывали сообщения русских официальных комиссий — даже когда в их составе обрелись высокие чины церковного священноначалия, — которые оглашали *urbi et orbi* свои официальные истины, а потом другим русским чиновникам приходилось лезть из кожи, чтобы эти истины опровергнуть.

На грустные мысли наводит вся эта ситуация. Мертвых не воскресишь, но у живых-то могли бы наконец проснуться и разум, и совесть.

Для начала надо договориться, что есть принципиальная нравственная разница между халатностью, пусть даже и непростительной, и преднамеренным и методичным, с письменными решениями и личными делами жертв, убийством безоружных военнопленных. Война — это всегда грязь и жестокость. Однако боевой амок — это нечто иное, нежели плановая, растянутая на недели катынская казнь. Закамуфлированная ложью, преподнесенной своим гражданам и всему миру.

Польско-русский диалог глухонемых ничем не напоминает той своеобразной певческой дискуссии в московском общежитии, с которой мы начали наш комментарий. Он ни в малой степени не предвещает соответствующего хэппи-энда. И если этот диалог еще не совсем похож на бабью свару — то в этом заслуга таких людей, как Борис Носов. Профессионалов, но и джентльменов. Я понимаю, что в истории тысячелетнего соседства русских и поляков достаточно случаев, когда так и подмывает послать соседа «по матушке». Хвала тем, кто от этого воздерживается. Чем больше их будет с обеих сторон, тем скорее мы начнем полемизировать как люди, в чьем опыте и судьбе немало сходного, то есть как настоящие соседи.

Невозможно всерьез обсуждать нашу тему, не упомянув доктора Збигнева Карпуса, историка из Торунского университета имени Николая Коперника, и его новаторских работ о польских лагерях военнопленных, прежде всего труда «Русские и украинские военнопленные и интернированные в 1918-1924 годах» (Торунь, 1991). Остается только восхищаться авторским страстным увлечением столь неблагоприятной темой. Никаких шансов на признательность поляков, ибо хвалиться нам тут нечем. Сомнительно и то, что тема заинтересует кого-нибудь из соседей, поскольку нет разоблачений геноцида, ибо таковой не имел места. При этом смертность среди военнопленных анализируется с документами в руках, не скрывается ее неестественно высокий уровень.

65 тысяч военнопленных были переданы России после заключения Рижского мира. В обмен на неполных 27 тысяч поляков. Число русских, которые пережили польский плен, но по разным причинам — скажем, из-за участия в военных и политических действиях на стороне белых — не захотели вернуться к своим, может быть определено лишь приблизительно — между 10 и 20 тыс. человек. Я считаю, что это с польской стороны упущение: с помощью Международного Красного Креста, наверно, и в этом случае можно было бы получить достоверную документацию.

Мне неизвестно, чтобы с русской стороны кто-либо компетентно ставил под сомнение выводы доктора Карпуса. Ничего неизвестно мне и о том, чтобы русская сторона представила собственные документированные выводы. Бросать лишь огульные обвинения — дело несерьезное. Обвинения требуют юридически достоверных вещественных доказательств — таких, какие по делу катынского, харьковского и тверского преступлений почти в течение полвека предъявляла польская сторона.



Виктор Кулерский

СУДЬБА КОСТЮШКОВЦА¹

Памяти Мариана Беднарского и тех, кто остался в тайге над рекой

Темно-синий военный билет номер 0210686 серии «С», выданный 12 декабря 1949 г., — документ почти автобиографический. Основой записей, охватывающих первый период — с 1916 (ошибочная дата рождения) до 1943 г., — послужили показания владельца. Неизбежные в таких случаях неточности и пропуски умножены ошибками случайных полковых писарей. Достоверные и точно датированные записи появляются только в 1945 г., последняя относится к 1953-му. Из-за скудости данных облик владельца билета предстает выцветшим и поблекшим, как старая фотография. Долго не получался разговор, который бы более зримо очертил стертое, размытое забвением прошлое этого человека — коренастого сына мельника с берегов Збруча, сначала солдата, потом невольника, а в общем, битого-перебитого судьбой жителя дальних польских окраин. И всякий раз, едва удавалось дойти до того, чтобы он обратил свои мысли к прошлому, слово «Сельцы» вставало непреодолимой преградой на пути памяти. Оно повторялось, как безошибочно закрепившийся условный рефлекс, как пропагандистский лозунг, вживленный в мозг. Долго не было слова-ключа к прошлому, запертому на засов, а когда ключ нашелся — прошлое оказалось настоящим.

Когда он говорил, борясь с волнением, вновь возникало то, что прошло и все-таки не прошло, что миновало, но при этом осталось, то, чем он не делился даже с самыми близкими, не желая заносить осколки былого в новый дом. Быть может, он уже привык к иллюзии, будто сумел уйти от правды своей умершей жизни, но тут она вновь неожиданно предстала перед ним. Видя, как застарелые швы молчания лопаются под напором открывающихся ран, трудно было спрашивать, чего он не договорил, что опустил в своем рассказе. К тому же он не хотел, чтобы разговор был записан. Просто сказал: «С меня хватит. Я хочу спокойно дожить до обычной смерти».

Чтобы вернуться к событиям, эксгумированным из забвения, и чтобы сохранить верность его пожеланию, требовалась смелость, которой не хватило. Поэтому воспоминания его записаны *ex post* и не авторизованы. Они полны недоговоренностей, а возможно, и неточностей, искажены естественным несовершенством человеческой памяти и человеческих чувств. Лишь значительно позже они были дополнены выписками из немногочисленных оставшихся после него документов. Поправки, прозвучавшие когда-то в нашем разговоре, а также уточнения помещены в приводимых фрагментах в скобках.

Сегодня, когда он уже окончательно неподвластен земным силам, пускай слова его продолжают говорить о тех, кто, как и он, заплатил молчанием за право вернуться и жить в собственной стране. Пускай свидетельствуют — вопреки свалке оскорбительных полуправд, умолчаний и лжи, которыми засыпана память о них.

*

I. Военный учет.

1. Дата рождения: 3 мая 1916 (1914)
2. Войсковая категория: группа I, кат. первая
3. Род войск: артиллерия
4. Младш. ком., рядовой: младш. ком.
5. № воен. специальн.: G
6. Название воен. специальн.: обслуживание орудий легкой и тяжелой артилл.
7. Штатная функция: бомбардир
8. Воинское звание: старший сержант

II. Общий учет.

9. Место рождения
- Воеводство: Тернопольское

¹ «Костюшковцами» в Польше называют солдат и офицеров 1 Дивизии Войска Польского им. Тадеуша Костюшко, созданной в СССР в 1943 г. — *Ред.*



Повят: Борщевский

Гмина: (Н)ивра

Населенный пункт: (Н)ивра

10. Профессия: работник умств. тр.

11. Специальность: кладовщик

12. Национальность: поляк

13. Родной язык: польский

14. Знание иностранных языков: русский — говорит, немецкий — говорит и пишет

15. Гражданское образование: 6 кл. гимназии, Борщев, 1930 г.

III. Прохождение призыва.

Дата призыва, каким РВК, заключение медицинской комиссии: II 1936, призван РВК в Черткове

В какую часть направлен: в 10 (Каневский) п(олк) л(егкой) а(ртиллерии)

Физические данные: рост 168 см, обвод грудной клетки 95/90 см

IV. Прохождение воинской службы.

— II 36 приком. к 5 бат. — наводчик

— IX 36 приком. к школе младших ком. — курсант

— XII 36 произведен в звание бомбардира

— II 37 произведен в звание капрала — командира орудийного расчета

— IX 37 уволен в запас

— 24 VIII 39 демобилизован в 4 п.л.а. — командир орудийного расчета (31 VIII 39 мобилизован)

— 18 IX 39 интернирован в СССР

На этом месте он прервался, лицо его потемнело под седеющей колочей щетиной, и он сказал изменившимся голосом:

— В неволе! Сколько раз спрашивали, столько я и отвечал: в неволе. Они на меня с криком, что это, дескать, не так, что так нельзя, а я всегда жестко: в неволе. Русские ведь сами в 39-м писали, что разгромили польскую армию, а нам, в листовках: «Солдаты! Бейте офицеров и генералов!» Когда они нас уже взяли, ребятам в руки попала их газета с картой. Сегодня тоже по-другому называют то, что они с Польшей сотворили, а ведь это же был раздел. На той карте я видел, как они ее располовинили, аккуратно через Варшаву, Демблин, Перемышль. В билете мне даже дату переиначили, чтоб выглядело, будто сразу все было кончено, а ведь мы еще несколько дней защищались, прежде чем они нас захватили. И нечего было мне объяснять, как все это называется, потому что я сидел — в неволе.

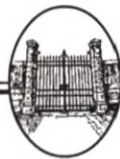
Может, в Тернополе или потом, в Волочисках, — это было интернирование? А Старобельск, Сумы, Кушва, и Бог знает куда еще нас пораскидали! Рядовым-то было еще хорошо, но уж с офицеров, с младших командиров после учебных подразделений, да и с таких, у кого вообще лычек не было, а просто выглядели они по-городскому, попански, там глаз не спускали. У таких проверяли всё: кто, откуда, что на гражданке делал, кто отец, кто мать, вплоть до братьев и сестер. Пока до дому близко было, люди сдуру никуда не убегали. Нам всё говорили, что отпустят, а мы всё ждали, день за днем, пока нас не повезли дальше! Месяца не прошло, как бросили на работу, на варшавское шоссе. Магистраль *советско-германской дружбы** построена на нашем горбу. В Бресте-то, говорят, они даже совместный парад дружбы и победы себе устроили.

В 40-м году пихнули нас обратно на Украину, под Сумы. Там копали мы подземные аэродромы, коридоры, туннели, подъемники, убежища. Скольких ребят на этой работе доконать успели, прежде чем немцы раздолбали все



Солдаты и офицеры 1 п.л.а. 1 Дивизии В.П. им. Т.Костюшко

* Выделенное курсивом — по-русски в тексте. — Ред.



это с воздуха. Никто не ожидал: они ведь ударили сразу, в первый же день. Еще и светать не начало, как земля встала дыбом. Налетали волнами, несколько раз, и вдруг опять тишина, а весь аэродром перепахан, наизнанку вывернут. Тех, кто уцелел, снова в товарняки запахали — спички не воткнешь. Заперли — и дальше, на север. Ни жрать, ни пить не давали всю дорогу, до самой Москвы. Люди умирали стоя, в давке и смраде. Под Москвой надолго застряли, конвой из-за чего-то передрался, люди боялись, что в них начнут стрелять, а то и хуже — мы боялись, что нас оставят подыхать взаперти. Отлегло от сердца, когда состав пустили дальше. За Москвой велели трупы выбросить, потом дали воды в ведрах — и дальше, на восток. Мы понятия не имели, сколько прошло времени, вдруг выгружают где-то посреди тайги. Снова мертвецы, разбросанные вдоль рельсов, обозначили место стоянки. Живых сразу согнали в колонны и погнали дальше пешком. Люди после того, что пережили в эшелоне, так ослабли, что то и дело кто-нибудь валился на землю. На такого тут же награвливали собак. Кто не вскакивал — там и оставался. Под руки поднять, помочь идти не позволяли — всё только быстрее, быстрее. Тех, кто упал и остался на дороге, мы больше не видели. Наверно, штыками их закололи: выстрелов за колонной слышно не было. Вокруг тянулся бор, бор и снова бор, мрачный, нескончаемый, высоченный, — у нас мало где такие есть.

Лагерь над рекой назывался Кушва, и был он хуже, чем шоссе, чем Сумы. Валили сосны и ели, обрубали сучья, а потом стволы надо было волочить вниз. Ежедневно, по четырнадцать часов в сутки, а то и дольше, не считая дороги. Когда с нар сползали, темень была, впотьмах тащились обратно, и все — как последние нищие. На ногах лапти,



ефр. Мариан Беднарский из 1 п.л.а.
Дивизии им. Т.Костюшко

сплетенные из лыка, сверху грязные дырявые куртки, ребра сквозь них видно, а вокруг эти, с собаками. Стоило им поводок ослабить, псы сквозь дохмотя мясо с человека драли. За работу раз в день давали хлеб, его и по полкило не было, да два раза по миске теплой воды, заправленной отрубями или вонючим черным крахмалом из мороженой картошки. Иногда в качестве роскоши перепадала соленая рыба. Хлеб, твердый и тяжелый, как глина с опилками, друг у друга крали, рвали из рук. Те, у кого от цинги десны пухли так, что зубов было не видно, есть его не могли, хоть плачь. Только коснешься — боль и кровь, зубы сами выпадают, а все равно — грызи, голод кишки крутит. Кто нормы не выполнил — и этого не получал. То ли от голода, то ли от грязи люди чирьями исходили. Гуще всего — на шее, на спине, на плечах, а тут то и дело надо что-нибудь таскать. Все лопалось, гноилось, кровь шла, тряпье к живому телу прирастало. То же было и со вшами. Стоило потрясти лохмотьями над огнем — вши капали, как дождь, гниды, словно каша, облепляли бороды вокруг лица.

Хуже всего жрала чесотка и лобковые вши. Кожу под мышками и в подбрюшине так разъедали, что получалась одна рана, один струп. Все рвалось при малейшем движении, от этого снова текло, опять засыхало, и так без конца. Мы заживо гнили без мытья, без дезинфекции, без перевязок. Даже мыла не давали. И так день за днем, в мучениях на работе, в голоде, среди паразитов. Ночь за ночью — полуспишь, полубредишь. Вот так мы были «интернированы в СССР».

Осенью приехал в лагерь какой-то комиссар, составлять списки поляков. Должны были послать в армию Сикорского. Люди приободрились. Разогнулись, выпрямились как-то, только и разговоров было: когда выпустят, куда повезут и как оно будет у них

с этой польской армией. Даже конвоиры как-то пообмякли, собак взяли на короткий поводок, а кое-кто нет-нет да и человеческое слово обронит. Пришло время комиссара отвозить, назначили меня помощником, при лошадях, ехать-то до железной дороги далеко было. Обратно пришлось возвращаться вдвоем с энкавдешником из лагеря, дорога затянулась, в сон клонило — вот он и разговорился. Оказалось, тоже с Украины родом, только подальше, с востока. Зашла речь о родной деревне, о доме — и его вдруг прорвало.

— Какой там дом? Уже лет двадцать с лишком прошло, как я отца-матери в глаза не видел, небось уж и померли за это время. Брата родного я тогда застрелил — вот и весь дом. Жизнь проходит на службе, все равно как у собаки:



только уши прижми да хвост подожми, а как поводок отпустят — рви горло другому, чтоб тебе первому не порвали. Такая жизнь. Я тогда домой на Рождество приехал. Собралась семья у стола: отец, мать, три сестры, я из Красной армии и он. Оказалось — белогвардеец. Встал я, между нами скатерть белая, праздничная, над ней и выстрелил прямо ему в бледный лоб... Потом я сразу ушел, не знаю, что было дальше. Вот и все, что осталось от дома. Живет человек, как зверь, как сосна в тайге, — и больше ничего. Может, оно и лучше, чем совсем уж сгнить в земле-матери. Вот ведь и ты еще живой, — вдруг обратился он к заключенному. — Не то что твои братья-поляки, которых в Белом море рыбы жрут. Целыми баржами мы их топили, ни один не всплыл. Там были тысячи — пограничники ваши, полиция, да и гражданских хватало. Все пошли на дно. Чистая работа. Так что не жалуйся, ты ведь жив, и все еще может измениться. Если удачно сложится, выживешь, повоюешь еще, и дом свой увидишь, и мать обнимешь.

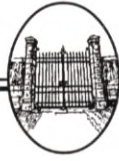
Началось ожидание. Прошла зима. Весной, как морозы спали, снова наскоро зарывали трупы. В бараках нас было все меньше, и постепенно уходила надежда. Начались побег. Поначалу одиночные, изредка, а со временем все чаще. Единственной возможной дорогой казалась река, вдоль нее и бежали. Не вверх по реке — там была гористая бесплодная глушь, бездорожье, — а вниз. Исчезали обычно на рассвете, когда начиналась работа в тайге. Немало можно было отмахать за день — иначе бором не пройдешь, — пока вечером хватятся, что тебя ни на вырубке, ни в лагере, ни живого, ни мертвого нету. И, хотя искать можно было лишь на следующий день, их и так скоро привозили, связанных, как ягнят. Вытаскивали окровавленных, избитых до неузнаваемости, исколотых штыками, в лохмотьях, вконец изодранных собаками, гнали прикладами в карцер. Видать, реку они хорошо изучили, знали места, где дичь шла под выстрел. Там и ждали. Если кого убьют — швыряли изуродованное тело у ворот, на устрашение бригадам, идущим на работу. Стреляли мало. Предпочитали привозить полуживых. Это сильнее действовало на остальных, ужасало. Полбеда, если такой несчастный еще как-то волочил ноги. Хуже, когда его волокли и не спросишь, жив еще или труп тащат. Тогда мы смотрели, в карцер его отправляют или за ворота. Правда, живых после побега тоже скоро кончали. Голод, работа под особым надзором, палки. Если дело не двигалось, пристреливали. Ребята только поглядывали друг на друга. Мы видели, что так или иначе, а конец всем будет один. Не проходило и нескольких дней — следующие шли в тайгу. Некоторые пробовали ночью сплавляться по реке на сцепленных бревнах. Все впустую. Казалось, убежать невозможно.

Смотрел я на все это и думал: не та дорога, по-другому надо бы их провести, но надвигалась зима. Только б ее пережить, эту последнюю... и я пережил. Люди валились с ног от поноса, высыхали от голода, как пустые мешки. Некоторые почти слепли. У других открывались раны. Оцарапается человек, ударится, споткнется обо что-нибудь на вырубке или обтеске — и тут же кровоподтеки, а потом язвы. От грязи они гноились и ни за что не хотели затягиваться. Больше всего были искалечены руки и ноги. Против болезней жевали молодую хвою с елок или сок из нее выжимали и смешивали с водой для питья. Мало все это помогало. Гибли ребята и днем, и ночью, и на нарах, и на работе. На рассвете мы вытаскивали тела из барачных порубок, а к ночи свозили с порубок. В тайге люди замерзали неизвестно когда. Между пнями, в ямах от вывороченных деревьев, среди ветвей — присядут от слабости, на минуту затаятся от ветра и снега, и вот уже их нет. Потом искали их по ночам, когда уходили с порубки, а заметет посильнее — бывало и так, что только весной находили. Когда снег сходил — птицы наводили на мертвечину среди куч еловых лап или в какой-нибудь расселине. Так находили и беглецов. Эти поиски трупов после работы отнимали столько времени, что люди скоро научились распознавать таких, кого после рабочего дня предстояло нести в лагерь, и приглядывали за ними. Когда мертвецов набиралось много, тащили их на полозьях.

Было видно, что это конец. Из трех тысяч, привезенных в тайгу, мало кто остался. Выходило, что с нами делают то же самое, что на Белом море, только другим способом. Непонятен был лишь приезд комиссара. То, что не выпустили, не удивительно, но зачем болтовня об армии, зачем списки живых?

Так или иначе, надо было удирать, пока ноги держали. Каждый день давался с трудом — только б дотянуть, когда снег сойдет. Чтобы выжить, надо было есть и беречь силы, но, чтобы есть, приходилось жили рвать, а норму выработывать. Ни так, ни эдак не получалось. Мы воровали. К дневной выработке прибавляли сколько могли из вчерашней. Я тоже начал жевать еловые побеги и лузгать семечки из шишек, найденных в кронах поваленных елей. Только бы дожить. Помаленьку все продумал, сопоставил.

Ясно было, что следует отправляться вверх по реке, а не вниз, потому что там ждали. Я боялся гор. Человек едва ноги волочит, может, и сквозь тайгу ему не продаться — те в конце концов всегда спускались к реке, — а тут в горы... Это было похоже на самоубийство, но другого пути не было. Горы тоже где-то кончаются, даст Бог, из тайги выберусь, встречу человека, а не волка. Погоня, как всегда, будет искать ниже по реке. За это время я выиграю дня два, а то и три. Потом надо где-то спрятаться, переждать, раздобыть пищу. Одно было трудно рассчитать — до какой степени я ослаб. Это ведь была уже четвертая зима в неволе.



Весна... весна там не так, как у нас, не помаленьку, а вдруг: сразу становится тепло, и дожди — сплошняком, проливные. Вокруг все зазеленеет, непонятно когда и как. Только ели черные ждут, пока не засветятся яркими молодыми иголками. Несколько дней я откладывал и прятал часть хлеба на дорогу, жил почти на одной только вонючей похлебке. День выдался добрый — собаки не возьмут следа: лило так, что все было серо, в двух шагах ничего не видно. Я пробирался все выше по реке, поближе к воде, чтобы не потерять направления. Ночью искать не должны. Промокшая куртка нагрелась, струпья отмякли, вши жрали меня, как в аду. Хотелось по земле кататься, но и без того раны открывались. В полдень я съел немного хлеба и еще столько же поздно вечером. В сумерках попался ручей, по которому можно было отойти в бок от реки и притаиться где-нибудь в овраге. Хотя в расщелинах еще лежал снег, я нашел сухую яму под выступом скалы, но теплей от этого не стало. Промерз всю ночь, аж трясло: тряпье-то насквозь промокло. Остаток хлеба я проглотил перед рассветом. Идти было все труднее, но я пробивался дальше вдоль реки. Ливень стихал, и я рассчитывал, что меня, как и всех, будут ждать ниже по течению. Я расстался с рекой под вечер, когда снова попался ручеек, только маленький, скоро пришлось его бросить. Хорошей ямы тоже не нашел, пришлось переждать ночь под старой елью, которая так низко опустила широко раскинутые лапы, что иголки по земле мели. Вполз я под нее, из хвои между корней нагреб высокую лежанку, и опять мокрые тряпки всю ночь высасывали из костей остатки тепла. Опять холод, как лихорадка, тряс меня так, что идти дальше казалось невозможно.

Хлеба не было, я высматривал шишки, но они висели слишком высоко, а опавшие были пустыми. Я пробирался через тайгу вверх от реки. Приходилось кружить между деревьями, обходить их, возвращаться, снова бродить по мхам, пропитанным водой, как губка, и цепляться за осклизлые ветви. Нутро выворачивало от голода и усталости, я жевал почки и разбухшие от влаги лишайники. На ночь залег, как накануне. Уснуть было невозможно, а когда глаза сами закрывались, я тотчас вскидывался идти дальше, ударялся головой о ветви и опять валился наземь. И так до самого утра. Я еле двигался вперед и потерял счет дням, хотя их прошло не так много. Мало требовалось, чтоб я навсегда так и остался в этой чащобе. В глазах темно, в голове — будто колокола звонят. Это была уже не ходьба. Я карабкался, как жук, проваливался в трухлявые пни. Бывало, не знаю сколько пролежишь, прежде чем двинешься. Ноги и руки кровоточили — ведь я все время выбирался из ловушек, искать что-нибудь съедобное сил не хватало.

Однажды под вечер тайга поредела, появились березы и открылся простор огромных лугов. Луга тянулись, сколько глаз хватало, и я знал, что этой пустыни мне уже не одолеть, что это конец пути. Слабость пронзала тело; едва я поднимал над травой голову, как пропадало зрение, тьма заволакивала мир. Низкое солнце бросало зарево на все небо, длинные тени — на луг. Но тут сбоку, у самого края бора пошевелилось что-то крохотное. Что-то белое то тут, то там вспыхивало и гасло, и эти вспышки понемногу перемещались в одну сторону. Там были... пестрые коровы, молоко... люди. Я попытался встать, опершись на палку, и пойти по опушке, где заросли деревьев еще не густы, а трава еще не высока, однако ноги так обмякли и одеревенели, что кочки, впадины под брусничниками и корни не дали уйти далеко, и я то и дело падал башкой в траву. В конце концов пришлось ползти сквозь темноту, напрямик по лугу. Была глубокая ночь, когда я дополз до кошары. Из меня словно разом вся кровь вытекла, когда лай овчарки прорвал мрак, но заливался пес высоко, видно, молодая дворняга, не лагерный волчара. Близко собака не подошла, только выскакивала из травы, как белый язычок пламени, и пряталась обратно, пока не выгнала из шалаша двух баб. Те стали светить головешками, потом бросать их, а я встать на ноги не могу, и горло словно кто рукой сжал — ни звука не выдавить. К счастью, все было так залито дождем, что огонь мало что опалил, он только шипел и гас, ни трава, ни остатки куртки не занялись. Наверно, они медведя боялись, но я не уклонялся от огня, и тогда одна приблизилась и тут же тихо крикнула другой: «Беглец!» Тут уж и та головней светит, смотрит и спрашивает: «Откуда?» Я сказал то, что они и сами видели: «Из лагеря». Когда услышали, что поляк, — словно смягчились. Угли бросили на землю. «Что нам с тобой делать?» — говорят. Я поднялся, смотрю, что будет, но тут они у меня в глазах тронься начали, белая дворняга, свет из дверей хибары — все закружилось, — и свалился я опять, так что пес отскочил с лаем.

В халупе на лавке я очнулся, и сразу этот запах меня окутал, как облако ангельское: на огне дымился чугунок с картошкой. Снова в голове помутилось, кишки подтянулись к горлу, как выжатая тряпка. Они увидели, что со мной делается, пару картофелин размяли в миске... я этого вкуса до конца жизни не забуду. Оглянуться я не успел, как чугунок куда-то исчез. Они боялись вконец погубить меня едой после такой голодухи. Дальше долго ждать не пришлось. Без лишних вопросов сняли завшивленные лохмотья, бросили в огонь, а меня посадили в корыто. Вода пошла аж черная, потом желтая от гноя и крови. Мылили, поливали из ушата, снова поливали и мылили, полегоньку, осторожно — так, что и родная мать лучше не сможет. Где раны, там обернули чистыми лоскутами, что были у них под рукой, для молока, и сразу сунули меня под одеяло. Смешались дни и ночи, бабы меня будили только, чтоб поел — а еду выделяли скупно и молока давали понемногу, с водой, — после чего я снова спал и спал, и все не мог в себя



прийти: как ни встану, с ног валюсь. Ходить пришлось учиться почти заново, как ребенку. Они прикладывали какие-то листья, что-то сыпали туда, где тело раскрылось и шел гной, и всё это делали так, что я даже не знал — когда.

Было далеко за полдень, когда я услышал стук копыт и какое-то тарыхтение. Обе влетели в избу: «Председатель из колхоза нашего едет, говори все как есть, по правде. Человек он справедливый, фронтовик, если хорошо пойдет, так еще и поможет».

Немного потолковали они перед халупой, и вот дверь открылась — вошел Сам. Высокий, статный, держался по-офицерски, к тому же седой как голубь и без одной руки. Откинул я одеяло и предстал перед ним в чем мать родила, одетый только в эти тряпки, присохшие, а частью отлетевшие. Посмотрел он, велел повернуться, снова посмотрел. Лезь, говорит, под одеяло и рассказывай. Я сказал все, как бабы посоветовали. Он снова впился в меня глазами, долго молчал — и: «Жди, — говорит, — пока я за тобой не приеду, из халупы не вылазь, а чуть кто покажется, поверху на сено перелезь и сиди, пока не уйдет».

Вернулся он уже на другой день, привез обмундировку старую, видать, с фронта, простреленную и залатанную, дочиста отстиранную. Еще дал сапоги с короткими голенищами, поношенные, но хорошие, и велел садиться в бричку. Конь был красивый, серый, весь в яблоках, такого мне у русских еще видеть не доводилось. Не успел я бабам спасибо сказать, попрощаться, как он меня уже повез через луга, напрямик.

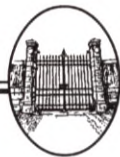
Была ночь, когда мы выехали к реке, потом поехали дальше, вдоль берега, засаженного большими деревьями, как огромная аллея. Вода то и дело поблескивала между кронами и стройными стволами, такой толщины, что у нас редко встретишь. Тут я впервые ощутил свободу — как человек, а не как убегающий зверь. Перед тем, как выехать из леса, Николай Петелимов — так бабы его звали — велел мне присесть на дно брички, за козлами. Даже если кто бричку увидит, не обратят внимания: люди знают, что он любит в одиночестве объезжать дальние пастбища и луга. Когда показались зады построек, он издала показал мне сарай, где уже ожидали раздвинутые снизу доски. У сарая притормозил, и, прежде чем он проехал, я, соскользнув на землю, украдкой прошмыгнул в щель, тут же вернув доски на место. Забrehали собаки, но быстро утихли, когда он, описав на бричке круг, проехал к домам. На чердаке я нашел еду, а потом зарылся в сено. Было ясно, что Николай не выдаст, хотя он ни единым словом не обмолвился, что мне готовит.

Небо едва побледнело, когда он велел мне садиться в бричку, как и раньше, за сиденье. Поместиться было трудно, потому что под попоной стояли какие-то ящики и корзина — от них пахло едой. Оказалось, он опять везет меня в луга, но не на выпас, а туда, где косят, дальше в горы. Он решил, что надо меня спрятать в глухомани, там, куда люди заглядывают только на сенокос. В ящиках было немного гвоздей, инструменты, чтобы починить шалаш, несколько горшков, а потом в корзине я обнаружил, должно быть, все, что он только смог найти из еды у себя в хате: крупу, муку, мешочек картошки, немного лука, горшок с капустой, квашенной пополам с брусникой, другой, поменьше, — с солеными грибами, бутылку масла, а сверх того даже кусок сала и немного желтого сахара к чаю. Не забыл он и об одеяле, и о старой куртке на холодные ночи. Спички велел беречь, заворачивать в клеенку, чтоб не намокли, а то надо будет огонь разжигать против медведей. Бывало, мол, калечили они людей, когда искали зимой пропитание.

Луга были огромные, как и всё в тех краях, а над ними — море облаков. Когда он оставил меня одного под этим хмурым небом, на ветру, я упал на колени и молился, как прежде не умел. Я благодарил Всевышнего за то, во что все еще не мог поверить. Я боялся, что все это только предсмертный сон, ведь такие сны всего прекрасней. Благодарил за Николая и за тех двух женщин. Просил для них благодати величайшей и непостижимой, какую только Он может ниспослать человеку. Стоя на коленях, я пил холодную воду из ручья, такую чистую, что было видно мельчайшие камушки. Смотрел, как ветер гонит облака и морщит травы, точно озеро, и снова молился — о тех, кто остался там, и снова пугался, осматривая долину вокруг.

Поначалу никак не удавалось приняться за работу. Я все больше спал, мылся, мазался мазью, которую оставил Николай, немножко стряпал, а потом бродил по лугам, прямо как одержимый. Добрых несколько дней прошло, пока взялся латать шалаш. Костер жег только по ночам, на глиняном полу, чтобы днем дым не выдал, а ночью огонь беды не навлек.

Председатель приезжал не часто. Раз подбросил немного старых, потемневших дранок, в другой раз привез хлеба и молока, осмотрел шалаш, всегда был немногословен, молчалив и быстро уезжал обратно. Однажды я увидел его взволнованным. Пошли слухи, что будет новая польская армия, говорили что-то о Василевской. Он спросил, пойду ли я. Когда я ответил, что хоть сегодня, похлопал меня по плечу и посоветовал подождать, не торопиться. Даже когда объявили призыв, осторожность ему не изменила. Только удостоверившись, что в окрестных военкоматах идет запись в польскую армию, и получив первые известия о Сельцах, он решил, что время настало. Как и раньше, он не предупредил меня о своих планах. Не сказал ничего кроме одного, как и тогда: надо ждать.



Из хаты он выехал, должно быть, еще ночью, потому что в лугах был уже перед рассветом. В бричке лежал мешок, а в нем несколько буханок хлеба, лук и шмат сала. Он приготовил это на дальнюю дорогу. Решил, что мне не надо объявляться ни в этой области, ни в соседней. Собирался отвезти меня на какую-нибудь из дальних станций, где его никто не знает, посадить в поезд и отправить не куда-нибудь, а в Омск. Только там я должен был явиться в военкомат, как беженец, живущий случайными заработками. Он советовал мне сменить фамилию, тем более что документов у меня не было. План менялся в случае какой-либо преждевременной и непредвиденной встречи. Объяснение сводилось к тому, что он подобрал меня на дороге и, согласно моему желанию, вез в военкомат. Я начал понимать молчаливую осторожность Николая. Не раз он, видно, бывал дичью, если капканы чуял издалека и знал охотничьи повадки. Он был справедлив, но и хитер.

На месте он все устроил сам. Сунул мне в лапу билет вместе с рублями... и пошел. Только я его и видел. Бричка затарахтела, заскрипела, а я остался — с мешком в одной руке и с билетом в другой. Мы не попрощались, я не произнес ни слова благодарности. Долго еще я жил тем, что он положил мне в мешок, и до сих пор я каждый день прошу и до конца своих дней буду просить, чтоб небеса были к нему благосклонны.

Не одни сутки прошли, прежде чем я добрался до Омска, а оттуда не скоро еще меня послали в Сельцы. В военкомате я все сказал, как он велел. Они подождали неделю, а то и больше, пока нас не собралось с десяток. А поскольку я явился раньше других, мне приказали вести группу. В Дивове, на станции, мы повстречали первого офицера в конфедератке с орлом. Это был майор Грош. Люди смотрели, а на глазах у них были слезы. В Сельцах, в школе, оказалось, что я один из немногих здесь младших командиров артиллерии. Меня взял к себе полковник Букоемский и приказал заняться людьми, которые к нему прибывали. Потом началась работа по обучению офицеров польской речи и польским командам. Люди были недовольны. Они хотели служить под своими, а тут опять русские. Поляки были только в самом низу, и лишь несколько — для красоты наверху. Все командование в чужих руках. Тогда мне и вспомнилось: «Солдаты! Бейте офицеров и генералов!» Теперь, когда они командовали всем, они были согласны на офицеров и генералов, даже на капелланов. *Польша будет, только поляков нет.* Постепенно человек начинал понимать, как такое может быть.

Через несколько месяцев подготовки нас бросили на фронт. Вроде всякий знает что-то о битве под Ленино, но на самом деле мало кто и мало что знает. Это была победа — только не наша. Тысячи три наших ребят с поля увезли, вдвое больше, чем немцев, а фронт и не дрогнул. Сперва бы как следует обстрелять, а тут — сразу в атаку. Только из траншей выскочили, только на предполье вышли — как их тут же на штыки. Дальше то же самое: огневой вал приказали перебрасывать на каждый второй рубеж, и ребята получали огонь прямо в лицо, с близкого расстояния. У немца были целые гнезда, не тронутые нашими батареями. С фронта его потеснят — он тут же на фланги лезет, потому что русские с места не двинулись, фланги были обнажены. Тригубово было в их зоне, а брать его пришлось нашим, чтобы спастись... и мы взяли, а они что, не могли? Запустили нас в котел на несколько километров, а немец давай молотить и с земли, и с воздуха. Даже боеприпасов не хватало. С воздуха прикрытия никакого, на небе, как в 39-м, одни немцы, русские даже не появились. Наши продержались в этом пекле два дня, и все напрасно. Фронт сдвинулся только в следующем году. Кто мне объяснит, зачем все это было нужно? За что те, кто еле вырвался из лагерей, сложили головы на той самой земле? После битвы бурлила вся дивизия. Берлинга и политруков крыли по матери, как и русских, за то, что дали перебить людей понапрасну.

Потом мы стояли в тылу, под Смоленском. Была середина зимы, когда открыли те могилы в лесу. Выбрали нас человек триста и повезли на экскурсию к тем раскопанным ямам... Господи! Я их видел. Встал на колени, к одному из них прикоснулся. Звездочки еще держались на погонах, ремни, портупеи, пуговицы с орлами в коронах... Должно быть, их расстреливали по одному, сзади, в затылок, так им лица разнесло. Кто раз такое увидел — для него уже жизни нет, из памяти не вырвешь, вечно будет мерещиться. Там, над этими ямами, не было сильных. Все плакали, как дети. Ребята перестали говорить о Ленино. Перед глазами стояли только эти раскопанные ямы и офицерские останки, выгашенные на снег. «Солдаты! Бейте офицеров и генералов!» Некоторые знали, от чьего ножа им удалось уйти, но держали язык за зубами. Я тоже хотел увидеть мать, забрать ее из Нивры. В двадцатом году она их неплохо узнала. О братьях до сих пор нет вестей — наверно, не выжили.

Под Житомиром казалось: попаду в родные края, но бросили в сторону, под Луцк, к Бугу. Нивра в стороне осталась. Уже в Польше дали за Буг синие бумажки с благодарностью.

«Да здравствует Свободная Демократическая Польша! Смерть немецким оккупантам! Верховный главнокомандующий маршал СТАЛИН приказом от 19 июля 1944 года выражает благодарность артиллеристам 1-й армии, в том числе и Вам, гражданин старший сержант... за участие в боях, в ходе которых сломлена сильно укрепленная линия немецкой обороны на БУГЕ. СЛАВА ПОЛЬСКИМ АРТИЛЛЕРИСТАМ!



Июль 1944 года

Командование 1-й артиллерийской бригады им. Юзефа Бема,
командир полка...»

Так, попеременно, нож то резал, то гладил. Под Пулавами забрезжил Черняков. Пытались переправляться без снаряжения, но людей на плацдарме перебили. Все могло пойти на лад только когда нас перемешали с русскими. Появилось и снаряжение для переправы, и боеприпасов *сколько угодно*, артподготовка такая, что земля кипела, да и с воздуха немца погнажи. Так было на Буте, так же было и под Варкой. Там мы ждали, когда пойдем на Варшаву. Долго ждали, слишком долго. В Вильге хлопцы без конца только и твердили: когда, когда? Как появится кто из командования фронта, тут же к нему, как к цыганке: когда на Варшаву? Пока один из этих сукиных сынов не отрезал: *«Успокойся, ребята, там помещики бьются, как выбьются, так мы наступление сделаем...»*

Люди тогда плохо понимали, что происходит. Как-то под Люблином, в деревушке, цветы нам вручали, радовались, смеялись, и тут один поручик из артиллерийского парка не выдержал: «Ну чего, чего вы радуетесь? Что одни ушли, а другие пришли? Погодите да посмотрите хорошенько, кто пришел».

Я огляделся — в толпе нас было только двое. Люди мало что поняли. Похоже, только одна кое-что смекнула. Она стояла сзади и, замерев, смотрела на нас выцветшими глазами. Видел я таких баб на Украине.

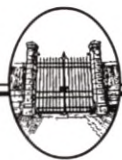
Наконец бросили нас ближе к Праге [предместью Варшавы]. Черный туман стоял над Варшавой, как стена, а ночью — зарево во все небо. Ветер даже до нас доносил ключья пепла, сыпал на лафеты орудий, на подступы к позициям. Люди легонько поднимали их, держали в ладонях, как облатку, разглядывали, словно надеясь что-то на них прочесть. В ту ночь мало кто спал, хотя к пальбе все привыкли. Ад начался только на рассвете. Оказалось, наши уже захватили плацдарм [на левом берегу Вислы]. Красиво немца сделали... но на этом все и кончилось. Их обложили огнем, а нам не дали даже огрызнуться, подавить батареи, бьющие по десанту. Ребята опомниться не успели, а русские уже тут как тут. Сначала никто не обратил на это внимания, их и так порядочно у нас крутилось — всяких связных да из командования фронта. Постепенно вышло так, что не только при штабе, а и у связистов, и в батареях — везде были они, хотя и без того все было в их руках. Комбатом был Иван Качуров, старший лейтенант, который себя называл не иначе как *«донским казаком»*. Огневым офицером был Василий Сергеев, тоже старлей-красноармеец. Из поляков только я, командир расчета, да Зигфрид Ямер, батарейный писарь.

Люди сначала стояли у орудий, ждали. Потом, когда до них дошло, что ничего из этого не выйдет, что все пропало, это их поразило. Слушали они, что на той стороне творится, и гадали: ураганный огонь — сбрасывают наших; заградительный ведут — по переправе долбят; беспокоящий — передышка. Потом люди стали пить. Этого товару было вдоволь, спирт бочками стоял. Пили и проклинали, пили и плакали, пили и богохульствовали. Больше всего связисты. Они-то знали, что там делается, тот берег у них был почти перед глазами. Связи нет, говорили, и баста.

Эх... а ведь наши там почти километр берега держали, два городских квартала. Вокруг них можно было стену огня поставить. То же самое на переправах. Известно было, откуда немец бьет. За столько дней и ночей можно было его полностью в землю вдавить, но нет, нам стрелять приказа не было. Мы смотрели, где по ночам над Вислой свет, где там опять наши прорываются без прикрытия. В воздухе то же самое. Небо было не наше. Может, разок штурмовики появились, и на этом конец. По ночам русские пускали по штучке этих своих воздушных змеев, кукурузников, людям на смех. Так оно и тянулось, день за днем, ночь за ночью. Передружили наши батальоны на том берегу, как котят. В воде и на земле осталось столько же, сколько тогда, под Ленино. Тут запил и я. Долго держал рот на замке, а тут проболтался. Думать не думал, что кто-то все в памяти загаит, чтобы продать человека. Они меня не сразу приперли, нет... Дали еще повоевать, а когда оказалось, что я жив остался, тогда и припомнили. После войны многих наших ребят уделали. Да и тем, наверху, тоже не лучше было. Первым взяли Галицкого, генерала, хоть он был русский. Он захватил самый большой плацдарм и неделю без прикрытия удерживал. Сразу после него сняли



Солдаты и 1 п.л.а. 1 Дивизии В.П. им. Т.Костюшко.
Город Радость 1944 г.



Берлинга. От Селец до Варшавы он нас довел и — камнем в воду. После него уже до конца одни русские *генералы* армией командовали.

После всего этого торчали мы в сосняках под Загужем. Продержали нас на отшибе месяца три, словно забыли. Дом на откосе посреди бора как стоял, так и теперь стоит, только старые дубы еще толще стали за эти тридцать с лишним лет. Дикий виноград посадили уже после возвращения, он тоже разросся и по столбикам крыльца влез выше террасы, из-под крыши вырезать пора. А под дубами я ульи поставил кружком, как они стояли в Нивре, невдалеке от отцовской мельницы. Тогда, в 44-м, так случилось, что тут я свой дом нашел, словно мне на роду было написано в сосновом бору век вековать. Уже надо было отправляться дальше, и тут от матери весточка пришла. Я успел написать, чтоб она приезжала и ждала меня здесь, на месте. Даже если б меня прибило где-нибудь по дороге, она могла рассчитывать, что попадет к добрым людям, которые дадут ей помереть в Польше.

В январе снова пришлось заглянуть в Вильгу. Мы шли на переправу, и встретился мне один оттуда, из тайги. Столько я высматривал, столько людей повидал — а попался всего один. Дорога была узкая, надо было пропустить минометы. Съехали мы на обочину со своими тягачами, они и так по снегу пройдут, а по утрамбованной дороге уже рвались вперед грузовики, но где-то там возник затор. Машины с минометами встали, тут-то я его и увидел. Выскочил на дорогу — и к нему, на подножку. «Узнаёшь? — говорю. У обоих слова колом в горле встали. — Видел еще кого-нибудь? Кто вышел?» Он смотрел на меня широко раскрытыми глазами, словно с трудом продираясь мыслью обратно на тот свет. «Я, — говорит, — все время наших высматривал — и никого. Ты первый. Как ты выбрался?»

Он еще что-то кричал, но моторы уже ревели на первой, колеса буксовали, разметая снег. Я соскочил с подножки... ответить побоялся. Это уже во мне осталось. Он ведь знал, что со мной было... а может, и не знал? Я стоял на снегу, а машины шли одна за другой, одна за другой. Нас было три тысячи...

На переправу мы ступили следом за ними. Уже за Вислой — рядом со мной разрыв, швырнуло, как тряпичную куклу. Левое ухо до сих пор не слышит. По ноге тоже железякой полоснуло. Красный листок с благодарностью за Варшаву я получил уже в лазарете. Давали не за сентябрьские плацдармы, а за освобождение необитаемой груды развалин.

«Да здравствует Свободная Демократическая Польша! Смерть немецким оккупантам! Участнику боев за освобождение от немецкого ярма столицы Польши **ВАРШАВЫ**, старшему сержанту... Выписка из приказа маршала **СТАЛИНА**: «За образцовые боевые действия выражаю благодарность войскам Первой Польской Армии, которые принимали участие в боях за освобождение Варшавы».

18 января 1945 года

Печать. Подпись командира полка».

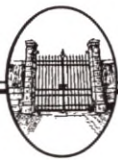
Не прошло и месяца, как я опять был в бригаде, уже на Померанском валу. Там получил очередное: «Да здравствует Свободная Демократическая Польша... Верховный главнокомандующий маршал Сталин выражает Вам, старший сержант... благодарность за участие во взятии городов: Злотув, Ястшув, Редериц, Фридленд Поморский и других населенных пунктов Западной Померании...»

Скоро дали следующее — за Темпельбург, Фалькенбург и Драмбург. Снова: «Да здравствует Свободная Демократическая Польша! Выражаю благодарность мужественным войскам 1-й Польской Армии... Выписка из приказа Маршала **ИОСИФА СТАЛИНА**...»

Жимерскому разрешили поздравлять только в Германии. Там я получил от него благодарность за Одру, а вдобавок повышение. Дальше была уже не работа — только вперед и вперед. Когда наши дошли до Эльбы, их ни на день с американцами не оставили. Передовые отряды только вышли к реке, только с ними встретились, и тут же обратно. Оставляя весь берег русским — и назад. Пихнули в тыл, аж под самый Берлин, чтобы союзники могли миловаться наедине.

За всю эту войну я получил крест и приговор к пяти годам тюрьмы. Временное удостоверение на бронзовый Крест Заслуги «за героические действия и мужество, проявленное в боях с немецкими оккупантами» подписал 6 июня 1945 г. командующий артиллерией 1-й армии Войска Польского генерал дивизии Александр Модзелевский. Аккуратную и четкую подпись легко прочесть: Ал. Модзелевский.

Запись в военном билете, датированная 26 VI 1945, звучит коротко: «заклучен в тюрьму». В ту первую послевоенную весну мы были на немецкой земле. Подразделение расположилось в вилле, окруженной садом с живыми изгородями, клумбами, аллеями, все как у них там заведено. Даже пчел было довольно много, хотя война только оттремела. Выставили мы столик на террасу, на втором этаже, и сидим за ним, все как на подбор, каждый в своем кресле. Был Качуров — комбат, Сергеев, Ямер, наверно, еще Игнатюк, он с нами держался. Кажется, забрел



тогда еще Сырода, еврей, подпоручик-политвоспитатель из дивизиона. На столе все что надо: скатерть, фарфоровый сервиз, жратвы полно, и водка в хрустальных рюмках, дом-то был богатый. Резались в карты, прикидывали, что кого дома ждет, когда дадут вернуться и чем бы тут пока заняться. Я увидел его еще издалека, он выскочил из-за живой изгороди и припустился по аллейке прямо к нашему расположению — что-то сразу меня кольнуло. После неволи уже прошло время, но этих я всегда узнавал на расстоянии. Я уже знал, что это за мной, хотя и не сообразил, за что. Был уверен, что они пронюхали, как я расстался с лагерем... может, добрались до Николая? Вообще-то мне уже давно казалось, что я у них на примете. За столом не поверили, когда я сказал, что это за мной. «С какой стати?» — и знай в карты режутся. Посмотрели на меня, только когда я карты бросил и говорю: «Не сойду вниз, а наверх полезет — убью сукина сына». Увидев, что я отвожу предохрани́тель, стали со мной спорить. Хотя и русские, а мужики-то свои. Видать, многое пережили, смекали, что к чему. «Не надо, — говорят, — нет на тебя серьезного дела, а то бы сразу взяли. Если сейчас берут, значит, ждали чего-то». У меня опять мороз по коже. А те всё свое — не надо и не надо: «Убьешь — тебе вышка. Войну пережил — и тюрьму переживешь». Налили на посошок, а снизу, с аллейки, я уже слышу: «Командир, вызывают». — «Зачем?» — отвечаю, а руки так и чешутся сверху из автомата по этой гниде полоснуть. «Вызывают, приказано немедленно явиться», — все та же песня. За столиком меня продолжают накачивать: «Не будь дураком, у нас выжил — у своих и подавно выживешь, с матерью увидишься...» Бросил я эту гадость и пошел. Так тот по дороге еще и сигареты у меня стрелял.

Под арестом таких, как я, было много. И все время прибывали новые. Как-то целую толпу ребят забрали из разных частей: видно, по списку брали. Всех одним и тем же этапом во Вроцлав отправили. Выходило так, что больше всего взяли аковцев, вступивших в армию, а после них — тех, кто от самых Селец шел. То и дело попадались кто-нибудь из сельчан. Потом, уже в Равиче, было то же самое. Мало кто из них знал, за что. Я сам до конца так и не разобрался в своем деле. Одно меня тревожило — как бы не проболтаться о лугах.

Если Николая не взяли, то и не возьмут, а если взяли — сами пускай выведывают. Так я думал и знал, что иначе не могу. Допросы были хуже, чем у русских в 39-м. Наши измывают человека, потом притащат под руки, бросят в камеру — нате, дескать, любуйтесь, что следующего ждет, — и только потом отправят в лазарет. В тайге я не раз думал: поляки справедливей, они такого не сделают. Может, когда-то так и было. С тех пор нас успели неплохо вышколить. Сначала просеяли, повырубали, а что осталось — переделали на свой лад. Теперь уже свои своих в порошок стирали. Со мной поначалу все было не так плохо. Непохуже было, чтоб Николая взяли, больше всего они кружили вокруг Селец и 44-го. Всё спрашивали о разных людях, я никак в толк не мог взять, в чем же дело. Наконец вытянули, что я говорил, когда мы пили после того, как немцам были сданы варшавские плацдармы.

— Ты подстрекал, натравливал на Союз, как фашист! Говори сам, что набрехал, сучий сын.

Я не признавался, пока они сами не сказали, а записано у них было все точно.

— Говорил, что хотят перебить всех, кто в большевистских лагерях башку не свернул?

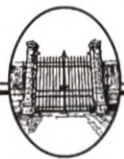
— Говорил.

— Говорил, что немцам на истребление оставлены те, кто восстание поднял?

— Говорил то, что сам от русского слышал.

Тут-то я свое и получил. Всыпали покрепче, чем за слабую память. Когда я смекнул, что главного дела они не трогают, стало легче. Я мог признаваться, подписывать: за тех людей я был спокоен, а что назад отошлют, мог не бояться. Я знал: все пройдет, все минует, а что мне припают — то уж придется оттрубить. Качуров мудро сказал тогда в Германии, когда я не хотел сдаваться. Кончилось тем, что получил я свой пятерик и путевку на отдых в Равич. Там нам всем показали, где наше место. Сети теперь забрасывали частые да прочные. В 39-м еще многие проскочили, а потом год от года ячейки были все мельче. После 45-го и позже гребли только так, разве что с отсрочкой. Аковских помещиков искореняли, выискивали остатки военнопленных 39-го, укрывшихся среди берлинговцев, понемногу начинали и штерлинговцев перетряхивать, по мере того как они возвращались в Польшу. Порой меня так и тянет вернуться туда, поехать, посмотреть, где их в землю зарыли, хоть лампадку ребятам затеплить на день поминовения. В тайгу не пустят, но в Равич-то можно. Кто-нибудь, наверно, знает, где они лежат: это же почти на глазах происходило. И тут же шарахаюсь: мало тебе было, им не поможешь, да и что тебе за дело. Не могу себя преодолеть, переломить — ни туда, ни сюда. Раз не поехал, наверно уж и не поеду. Боюсь — вот все, что мне осталось. Своим-то ни слова не говорю про то, что в голове крутится, — да и зачем? Подумают: в детство впал старик, с головой неладно, не понимает, в каком мире живет.

После амнистии, в 47-м, вернулся я сюда, под Загуж, где мы стояли зимой с 44-го на 45-й. Мать меня ждала, а от братьев — ни следа. Начал новую жизнь. Жена работала в госсекторе, нанялся и я чиновником в повят. Через тринадцать лет пришла реабилитация из Верховного военного трибунала, да только что с того. Меня на мякине не



проведешь. Противно было все это, я носа из бора не высывал — только на работу и назад. Ни эти их газеты читать не мог, ни радио слушать. Как-то жена меня в кино выгнала, увидел я опять этих кабанов раскормленных, волков матерых, будь они прокляты, так и перестрелял бы, хоть это и картинка. Ушел я тогда и больше в кино не ходил. Дома хватало работы на огороде, со скотиной. С пчелами еще возился. Время оставалось — за брусникой ходил, за грибами, а то багульника от моли с торфяника принести. Да хоть бы и на пенек присесть, оглядеться — тоже хорошо. Весной за пригорком по болотине лоси шлепают, осенью кабаны за желудями прямо на двор под дубы приходят. Немного похоже на то, как было тогда, в лугах, только дом и семья при мне.

На работе долго не выдержал. Ходить далеко, и здоровье не то, что прежде. Осенью грязь, слякоть, зимой дорога не проторена — места безлюдные, а тут и шрамы отозвались, голова о себе напомнила. Бросил я повят, немного в лесу работал, а то на своем хозяйстве, при доме. Тяжело было, пенсию никак выводить не мог. Говорили, слишком поздно, надо было раньше, чтоб бумаги раздобыл, где раны получены. Словно мало было военного билета, мало было этих благодарностей, медалей, креста и того, что на живом теле написано. Бросил я все это, потому как пока ходил — давление заработал, а потом инфаркт меня свалил и угодил я в больницу. Случайно помог один инженер, и дело попало к полковнику, который раньше, говорят, в госбезопасности работал, а потом начал нраво-учительные рассказы для детей писать и стал благодетелем таких, как я. В конце концов он-то и помог. В 73-м прислали мне копию письма, адресованного товарищу министру:

«...Проведенное обследование социальных условий показало, что заинтересованное лицо находится на иждивении жены-пенсионерки, получающей пенсию в размере 1507 зл. в месяц, на иждивении имеет сына-студента, больного туберкулезом легких.

Принимая во внимание участие в национально-освободительном движении, инвалидность II группы и тяжелые бытовые условия, я назначил ему в виде исключения пенсию по инвалидности в размере 1500 зл. в месяц, с 1.4.1973...

Председатель...»

*

О похоронах я узнал случайно, на улице.

— Вы знаете, что он умер?

От этой же вдовы вечно пьяного печника Мартина когда-то я впервые услышал о том, кто «был тут с войском, а потом вернулся и засел где-то в бору, среди болот». Нескладно говорила она тогда о человеке, который квартировал в их доме в последнюю военную зиму, мало о нем знала, и никак у нее концы с концами не сходились.

— Дебера, так его звали или что-то вроде этого. Хороший был человек, но чудной. Даже паек свой отдавал соседке рядом, которая одна с детьми осталась. Стояло их на квартире четверо — двое русских в конфедератках и двое поляков, часто заходил еще один еврей. Дебера от всех от них отличался — молчун, часто куда-то ходил в одиночку и всегда как будто чуть в стороне держался. Один раз я слыхала, как другие что-то говорили, будто он «политический», но не помню, то ли о нем, то ли о том еврее. После войны долго не возвращался. Слухи ходили, что у него свои «дела», хотя никто не знал какие. Поговаривали даже, что он сидел. Может, так оно и было. В армии, как перепьются, всякое вытворяют. Когда он вернулся, никто не видел, а потом оказалось, тут он, сидит в своем бору за болотом.

Когда я снова добрался до дома у пригорка, снег кое-где еще держался, и зацветали анемоны.

Седая женщина, оставшаяся одна, смотрела прямо перед собой невидящим взглядом. Она уже теряла зрение и узнала меня, только когда я приблизил свое лицо к ее лицу.

— Это случилось в годовщину свадьбы, в субботу. Сидели мы за завтраком. Он попросил, чтоб я дала малиновый сироп, любил немножко подлить себе в чай. Только стакан поднял да успел сказать, что в глазах темно. Плохо ему стало. Вдруг упал со стула... Прежде чем помощь какая — все было кончено. А был январь, мороз сильный, и снегу много намело, как тридцать пять лет назад. Приходской священник, в годах уже, всю дорогу от дома перед санями пешком шел, хотя путь неблизкий. Хотел проводить его достойно. Верно, знал о нем. Может, из исповеди, может, из разговора: они ведь не раз говорили, когда встречались. Его преподобие иногда к нам заглядывал. В костеле он красиво сказал, что Богу справедливому так угодно было, что за долгое, тяжкое умирание, которое солдат при жизни претерпел, Бог послал ему легкую смерть.

Не прошло и четырех месяцев, как краска отшелушилась, стерев фамилию с жестяной таблички, прибитой к кресту среди карликовых сосенок.

Разобрать можно только начало имени и обычное: «Жил 65 лет, ум. 6 I 1979. Мир его душе».



ПОСЛЕДНЯЯ БЕСЕДА С ЯНОМ КАРСКИМ

(Запись с видеокассеты)

Ян Карский (1914-2000) — довоенный дипломат, во время войны — узник советских лагерей, затем — легендарный курьер, осуществлявший связь между польским подпольем и эмигрантским правительством в Лондоне; в ходе встреч в 1942 с президентом США Ф.Д. Рузвельтом, членами английского правительства и др. первым передал на Запад достоверную информацию об уничтожении евреев и о концентрационных лагерях на территории Польши. После войны жил в США и преподавал в американских университетах.

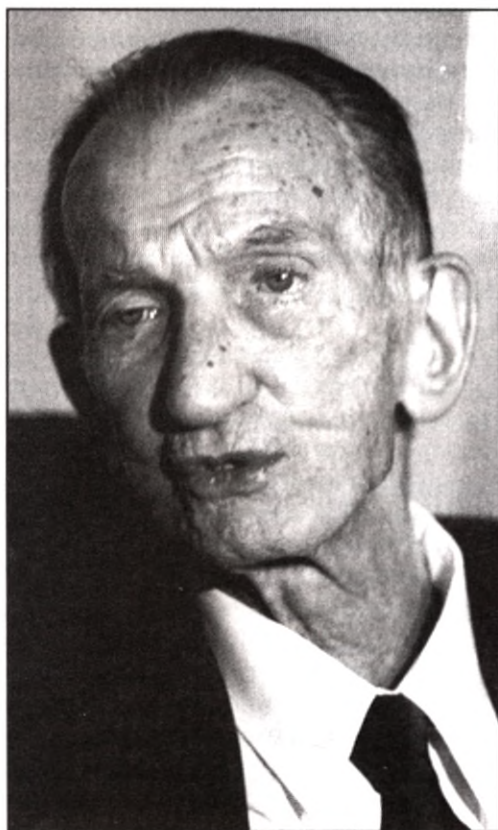
Я устал от себя самого и от жизни. Я не готовился к старости, и сейчас мне неловко, что я такой старый и некрасивый. Карский перестал меня интересовать больше двадцати лет назад.

О Лодзи и о матери

Я родился в доме 71 по улице Килинского в 1914 году. Город называли «красной Лодзью». Тогдашний «отец города» Бронислав Земенцкий был личностью легендарной — пилсудчик, социалист, радикал-общественник. Он был близко связан с Пилсудским и говорил, что они доехали вместе до остановки «Независимость», где Пилсудский вышел, а Земенцкий поехал дальше, до остановки «Социальная справедливость» — что бы это ни значило.¹ В городе о нем говорили, что он все еще сидит в этом трамвае и до своей остановки так и не доехал.

Лозунг социальной справедливости был весьма популярен в гимназии имени маршала Пилсудского, где я учился. Но, прежде чем туда попасть, я получил домашнее образование — по программе моей матери Валентины Козелевской, урожденной Гуравской. Старшие братья и сестры уже жили отдельно, и я был у матери единственным подопечным. Дипломов у нее никаких не было, но было мировоззрение, которое меня невероятно привлекало. Во-первых, она боготворила Пилсудского, которого иначе, как «отцом нации», не называла. Мать была по-своему глубоко религиозна: она считала, что Бог для всех один, только по-разному являет себя разным людям. Поэтому в мире существуют различные религии, церкви, обряды, но Бог — общий. В связи с этим она исповедовала огромную терпимость и горячо уверяла, что Бог требует от нас, чтобы мы были терпимыми по отношению к другим.

Я помню Лодзь такой, как ее показал Вайда в фильме «Земля обетованная». Превосходный фильм. Вайда воссоздал Лодзь действительно такой, какой я ее помню со школьных времен. Этот театр, эти фабриканты, эта роскошь — нередко в дурном вкусе... Ну и сами результаты труда: город практически



¹ Ю. Пилсудский говорил о себе, что из трамвая, идущего до конечной станции «Социализм», он вышел на остановке «Независимость». — Здесь и далее прим. переводчика.



возник за каких-нибудь 10-15 лет. Пришли тысячи людей — в основном евреи и немцы — и из ничего создали Лодзь.

О себе и о 1939 году

В гимназии я был, что называется, зубрилой — только учился и учился. Уже тогда я мечтал, что стану дипломатом и буду представлять свою страну. Я нисколько не сомневался, что Польша — одна из крупнейших европейских держав. Когда сейчас я об этом вспоминаю, то прихожу к выводу, что был невероятно глуп. Весь набор польских бредней сидел у меня в голове.

Помню, когда я потом уже служил в МИДе, как возмущались чиновники англичанами и французами: вот идиоты, Гитлер их за нос водит, устраивает парады с танками, а ведь танки-то — картонные! Наша разведка доподлинно знает, что они картонные. Мы, поляки, гениальный народ — мы все знаем.

На войну я отправился с «Лейкой» — чтобы фотографировать генералов, когда мы уже будем в Берлине. Какой же я был дурак! За два-три дня я стал нищим: немытый, вонючий, без гроша в кармане. Продал «Лейку», потом хотел продать именную саблю. Пошел в лавку и говорю: «Так, мол, и так, у меня нет денег, а есть хочется. Эта сабля — историческая реликвия, на ней подпись президента. Пожалуйста, купите. Когда кончится война, я вернусь и выкуплю, а если погибну, то ее любой музей с радостью приобретет». Ответ лавочника я до сих пор помню, слово в слово: «Выбросьте эту чертову гадость в канаву. Как бы беды не накликать».

О Миколайчике, Циранкевиче и других

Миколайчик² был человеком тяжеловесным, толстым, простым, необразованным, но необычайно трудолюбивым и упорным. Приехал во Францию — сразу стал учить французский язык, приехал в Англию — английский. Сикорский³ просидел во Франции 13 лет, а языка так и не выучил. Поляки об этом ничего не знают. Миколайчик был самоучкой, а кроме всего прочего — реалистом: у него не было иллюзий. В отличие от Сосновского⁴, Андерса⁵, а также и Сикорского. У них важную роль играл не только анализ политической ситуации, но и личные амбиции. Например, Андерс утверждал, что он наверняка знает, что дело дойдет до войны между США и Россией. Миколайчик этого не утверждал, он был реалистом. Некоторые говорят: «Ах, если бы Сикорский не погиб, то вся послевоенная Польша выглядела бы иначе». Чепуха! Если бы Сикорский не согласился на уступки, на которые пошел Миколайчик, американцы или французы обнаружили бы документы, неопровержимо доказывающие, что Сикорский всю жизнь был фашистом и потому доверять ему нельзя. Говоря объективно, в июле 1944 г. для независимой Польши места не было. Красная армия в погоне за немецкой дошла до границ довоенной Польши. Поляки ожидали, что в этот момент Сталин направит польскому правительству меморандум или нечто подобное: «Позвольте мне перейти границу Польши, поскольку это ваша страна». Полная чепуха! премьер и министр сельского хозяйства в просоветском польском правительстве, в 1947 г. был вынужден бежать из страны, после чего жил в США.

Миколайчик был простым мужиком, война застала его, когда он пахал свою малую землицу.

Циранкевич⁶ был человеком образованным, выдающегося ума. Разница в культурном уровне между ними была огромная. Разумеется, надо провести различие: Циранкевич какого периода своей жизни?

² **Станислав Миколайчик (1901-1966)** — деятель крестьянского движения, в 1940-1944 гг. вице-премьер, затем премьер-министр эмигрантского правительства в Лондоне, с июня 1945 г. — вице-премьер и министр сельского хозяйства в просоветском польском правительстве, в 1947 г. был вынужден бежать из страны, после чего жил в США.

³ **Владислав Сикорский (1881-1943)** — генерал, премьер-министр в 1921-1923 гг., с сентября 1939 г. глава эмигрантского правительства в Лондоне, один из организаторов Польских вооруженных сил на Западе, погиб в авиационной катастрофе близ Гибралтара.

⁴ **Казимеж Сосновский (1885-1969)** — генерал, герой обороны Варшавы в 1920 г., с сентября 1939 г. министр в правительстве Сикорского, после смерти которого назначен Верховным главнокомандующим.

⁵ **Владислав Андерс (1892-1970)** — генерал, был интернирован в СССР, после заключения польско-советского договора в 1941 г. стал командующим Польской армией в СССР, вывел ее из СССР в 1942 г. и прошел всю войну в качестве командующего 2-го Польского корпуса на Западе.

⁶ **Юзеф Циранкевич (1911-1989)** — политик, деятель Польской социалистической партии, в 1941-1945 гг. узник гитлеровских лагерей в Освенциме и Маутхаузене, в 1948 г. провел в жизнь коммунистическую концепцию объединения социалистов и коммунистов. В 1947-1970 гг. — поочередно премьер-министр и вице-премьер ПНР, председатель госсовета, в 1948-1972 гг. член политбюро ЦК ПОРП.



Я знал его еще до Освенцима. У меня нет ни малейшего сомнения, что в то время Циранкевич был умнейшим поляком, с которым мне довелось встречаться и в Лондоне, и в Польше. Умный, блестящий, мудрый, спокойный, умеющий смотреть вперед — крупнейший государственный деятель. Миколайчика я знал очень хорошо. Я ему доверял, он платил мне тем же. Похожее отношение у меня было и к Циранкевичу, но вот карьеры у них сложились, прямо скажем, по-разному.

Миколайчика я считаю мучеником, политическим мучеником «польского дела». Он пожертвовал собой. Если бы он не вернулся в Польшу (а его все в эмиграции за это критиковали), то на страницах истории (советской, английской, американской) было бы написано, что поляки всегда вели себя глупо: соглашение было возможно, но эти упрямые поляки не желали разговаривать с маршалом Сталиным. Вернувшись в Польшу, Миколайчик доказал: мы сделали всё, абсолютно всё возможное, мы пожертвовали даже своей честью, своей безопасностью. Миколайчику обещали, что он будет премьер-министром, он принял пост вице-премьера, он рисковал тюрьмой, чтобы засвидетельствовать перед историей: мы сделали всё, чтобы сохранить хоть какую-то независимость. В этом и заключается величие роли Миколайчика. Тогда, в 1945 г., он действительно был вождем польского общества. Польское общество проиграло войну, и Миколайчик вместе с ним.

О Катыни

В апреле 1943 г. я был в Лондоне, когда разразился катынский скандал. Я тогда ежедневно встречался с самыми влиятельными людьми Англии, и все интересовались тем, что делается в Польше. Каждый англичанин, с которым я виделся, говорил: «Знаешь, Карский, может, на этот раз немцы говорят правду, может, это действительно русских рук дело». И сразу после этого каждый из них официально заявлял: «Только вы, поляки, можете быть такими идиотами, чтобы досаждать Сталину. (Тогда ведь еще не было второго фронта). Красная армия — спасительница человечества, а вы осмеливаетесь критиковать Сталина! Только польская сволота может так поступать!» Так говорили те же самые англичане, которые только что утверждали, что немцы не лгут по поводу Катыни.

О Холокосте

Евреи жили в жутких условиях. У них не было собственного государства, не было регулярных вооруженных сил, не было международного представительства. Они были вынуждены полагаться на третьих лиц, а те были им симпатичны или нет. Карский, надо полагать, был симпатичен, а другие — нет. И если бы официально было объявлено, что военная доктрина будет включать в себя такую цель, как спасение евреев, то Сталин бы взбесился: «Вот гады, все эти черчилли, рузвельты и прочая сволочь! Мы тут сражаемся, миллионы людей бросаем в бой, а эти бездельники даже второго фронта не открывают! И еще нагло заявляют, что защищают евреев, а о русском народе и словечка не пискнут!» Делать что-то в защиту евреев было просто невозможно. Английская и американская разведки прекрасно знали, что происходило с евреями. Наверняка они им сочувствовали, переживали, даже жалели их — но это была всего лишь второстепенная проблема, не имевшая никакого военного значения. Это была война, где гибли миллионы людей и надо было спасать все человечество. А какие-то там евреи? Кому до этого было дело?

О польских границах

До самого конца я верил, что правительство соорудит нам хоть какую-то Польшу. У меня не было ни малейшего сомнения, что Тернополь, Львов, Вильно нужно списать в убытки, и упираться в этом вопросе было бы просто провокацией. И еще одно, о чем поляки не хотят помнить: не было ни одной англо-американской конференции, посвященной западным границам Польши. Англичане и американцы, наоборот, протестовали: нельзя отдавать Польше эти огромные территории на Западе. Границу на Одере-Нейсе мы получили только по милости Сталина. Он не уступал и настаивал: полякам это полагается. Разумеется, у Сталина были свои планы — он хотел посорить немцев с поляками на вечные времена. Но западные границы нам обеспечил. И Черчилль, и Рузвельт — все протестовали: «Это просто абсурд — давать Польше границу на Нейсе!» Черчилль кричал: «Я не собираюсь кормить этого



польского гуся, он подавится этими территориями!» А Сталин повторял: «Полякам это полагается, они страдали, они сражались». Так что благодаря Сталину у нас такие западные границы.

О встрече с Тувимом

Меня отправили с секретной миссией в США. Профессор Станислав Кот, который тогда был министром информации, поручил мне заодно встретиться с Тувимом, который жил под Нью-Йорком. Кот узнал, что Тувим на каком-то публичном собрании выступал в весьма левом духе, а потом опубликовал статью в прокоммунистической газете. А в то время он получал постоянное пособие от лондонского правительства. Кот сказал мне: «Передайте Тувиму, что правительство у него пособия не отберет, что бы он ни сделал. Это большой поэт, у него доброе сердце. Расскажите ему, как страдает польский народ, что вытворяет Россия, какие у нас на родине гонения. Скажите ему, чтобы он немножко сдерживался. Пусть он о нас — об эмиграции, о правительстве — тоже не забывает». Я отправился к Тувиму и передал то, что сказал Кот. А Тувим оскорбился: он, мол, польский поэт, и для него границы не так уж и важны. Бело-красный флаг, или весь красный, или весь белый — это для него не имеет особого значения. А потом написал: «Моя родина — польский язык».

О патетике и поляках

Я уже старый человек и перерос всю эту патриотическую риторику. Пришло время посмотреть на все эти вещи честно. А поляки во многих вопросах лицемерят. Особенно если речь идет об их благородстве, самоотверженности, их вкладе в войну: мол, без поляков союзники бы войну наверняка проиграли. Не надо преувеличивать, take it easy.

О 1989 году

Впервые в истории Польши случилось то, что произошло в 1989 году, — случилось чудо. Да поляки должны Господа Бога благодарить, обниматься и друг другу в ноги кланяться. Ни один дом не пострадал, ни единого человека не убили — а такой перелом наступил. Один строй сменился другим. А сегодня люди выступают с упреками, что-де не проводят различия между хорошими поляками и плохими. Чепуха какая! Я вот живу в Америке, и с моей точки зрения высшую награду — орден Белого Орла — должны получить и Валенса, и Ярузельский, и Кишак. Все они вместе осуществили перелом без кровопролития. И слава им всем, и хвала — и левым, и правым. Наконец-то, впервые в истории Польши, поляки проявили разум, доказали, что умеют уважать собственную кровь.

(фрагменты передававшегося по польскому общественному телевидению интервью, проведенного М. Файбусевичем)



Я НЕ ИЗ МРАМОРА

Интервью с Кристиной Яндой

Кристина Янда родилась в 1952 г. в Стараховице. Закончила варшавское Государственное высшее театральное училище. Дебютировала в театре «Атенеум» в роли Анели в «Девичьих обетах» Фредро. В кино впервые снялась в роли Агнешки в «Человеке из мрамора» Вайды (1977), которую сыграла снова в «Человеке из железа» (1981). У Вайды сыграла также в фильмах «Без наркоза» и «Дирижер». За роль в «Допросе» Бугайского получила премию на Каннском кинофестивале. В 80-е много снималась в иностранных фильмах, важнейшим из которых стал «Мекфисто» Сабо. В театре долгое время играла спектакли одного актера о месте современной женщины. Предпочитает роли женщин сильных и знаменитых — в сериале Яна Ломницкого была знаменитой польской актрисой Хеленой Моджеевской, в варшавском «Театре Повешенном» играет Марию Каллас («Урок пения»), в последнее время ездит по стране, играя Марлен Дитрих. Выступила в качестве режиссера в театре и в кино.



— В Государственном высшем театральном училище вы писали диплом «Рецепт успеха». К каким вы тогда пришли выводам?

— Я решила понять, какой мне надо быть, чтобы в Польше добиться успеха. Пользуясь, в частности, статистическим ежегодником, я проанализировала, у кого больше всего зрителей или слушателей, индивидуальные черты и т.д. В круг анализа входили Мэрилин Монро, Хамфри Богарт, все-все... В Польше самыми популярными оказались Матысяки из одноименной радиопередачи и телевизионные «Четыре танкиста и собака». Получилось, что если я хочу сделать карьеру, то должна быть собакой Шариком. А сегодня оказывается, что статистические ежегодники в ПНР были фальсифицированы!

— Однако не роль вроде Маруси, советской санитарки из «Четырех танкистов», положила начало вашей карьере, а образ бескомпромиссной Агнешки в «Человеке из мрамора» Анджея Вайды. Знали ли вы с са-

мого начала, в каком важном фильме дебютируете?

— Для меня главным было то, что меня вообще выбрали, и встреча с Вайдой. Сам фильм был на втором плане. Только в ходе работы я поняла, что должно содержаться в моей роли и какое значение может иметь этот фильм. Вначале Вайда мне только сказал, что я должна вызвать либо восторг, либо раздражение, и неважно как, лишь бы сосредоточить на себе внимание зрительного зала. В сценарии, который был написан на десять с лишним лет раньше, современность заключалась в двух-трех сценах. Я всегда повторяю, что можно было показать только мои ноги, а идя за ними — рассказать всю историю Биркута.

— Шел 1976-й год. Радом, Урсус... Кем вы тогда были? Насколько вы сознавали, что происходит в Польше?

— В общественно-политическом плане почти ничего. Я окончила художественное училище в варшавских Лазенках. Это была необыкновенная школа: пока я училась, там не состоялось ни одно-



го торжественного заседания. Моих товарищей и меня интересовало, как меняется мир, но в эстетическом смысле. Нам не нравился сталинский Дворец Культуры, но единственное, что нам приходило в голову, это обложить его древесной ватой, полить водой и посадить полевую горчицу. Символика значения не имела. Нам хотелось, чтобы он исчез, потому что был уродлив.

В марте 1968 года нас всех заперли в классе и вызвали родителей, чтобы передать им с рук на руки. Боялись, что мы пойдем к студентам университета.

— *Зачем? Ведь политика вас не интересовала.*

— А мы бы все равно туда побежали: мы хотели быть всюду, где происходит что-то интересное. Даже без всякой идеологии. Я была еще ребенком, девочкой под строгим надзором родителей, но, например, мой одноклассник и лучший друг Юрек Янишевский поехал в Чехословакию, так как его интересовало, что там творится. Вернулся он жестоко избитый, с кусочками гравия под кожей. Все, что он рассказывал, я принимала с восторгом, хотя до конца и не сознавала, в чем дело.

Именно Юрек придумал позже надпись «Солидарность». Это дело случая: он жил ближе всех к верфи, вот к нему и прибежали. Так возникла эмблема «Солидарности».

На второй год учебы я сошлась с Анджеем Северином, который сидел в тюрьме в 1968 г. и вышел из нее овеянный славой. Я естественно вошла в его круг. Яцек Куронь, Ян Литынский, Северин Блумштейн были старше меня. При них я в основном молчала. Откровенно говоря, мне все это было немножко скучно. Когда все встречались, около полуночи я искала какую-нибудь детскую комнату, ложилась в кроватку и засыпала, так как страшно уставала. Иногда я слушала, как Анджей что-то пел или декламировал.

Я не ощущала общественного призвания, не хотела включаться в политическую деятельность. Впрочем, тогдашний тесный, замкнутый круг оппозиционеров еще не нуждался в людях извне. Никто мне не предлагал поехать на процессы рабочих из Урсуса или Радома. А я была занята чтением книг и знакомством с миром театра.

Сегодня, когда ко мне приходят люди и просят, чтобы я высказала свою точку зрения по какому-либо важному вопросу, я делаю это очень охотно. Это мне льстит.

— *Сценарий «Человека из мрамора» возник за 14 лет до того, как начал сниматься фильм, и роль была написана в рас-*

чете на Агнешку Осецкую, тогда студентку киношколы. Как сформировался ваш образ Агнешки?

— Существовал только набросок роли. Анджей Вайда искал исполнительницу среди художниц, режиссеров, скульпторов, архитекторов... Он искал интересную женщину, личность. Кого-то, кто станет знаменем времени, увлечет зрителей. Он остановился на мне, так как его заинтересовало, что Анджей Лапидский поручил мне роль юноши, Дориана Грея. Вайда пришел в театр на репетицию, затем пригласил меня на пробные съемки, на которые я вообще не хотела идти. В конце концов я появилась незагримированная и вообще обиженная.

Несмотря на это Вайда остановил свой выбор на мне. Он отвел меня на съемки «Воскресных детей» Агнешки Холланд и сказал, что мне нужно к ней присмотреться и научиться ее изображать. Ее стиль не был для меня достаточно ясным, но я поняла одно: надо быть человеком, которому очень важно сделать что-то хорошее. Полным решимости.

— *Какие указания давал вам Вайда?*

— Он спросил, могу ли я сыграть мужчину, и сказал: «Знаешь, американцы снимают фильмы с одними мужчинами. Я сошел с ума, взял на роль девушку».

И в каком-то смысле я играла парня — не занималась собой, своими эмоциями, только Делом, с заглавной буквы. Я старалась действовать. Это было ново.

— *Кто придумал ваш костюм?*

— Мы так одевались — джинсовые вещи либо американские армейские куртки. Анджей увидел меня в этой одежде, и так и осталось. Прибавил мне только американский мешок. И сказал: «Помни, что в этом мешке все, что у тебя есть. Терять тебе нечего. И никаких обязательств».

Каждое из этих замечаний было фундаментальным.

— *Как создавалась роль?*

— Вечерами я сидела у Вайды и слушала, что обо мне говорят. Идеи черпали из моего поведения: ставили меня лицом к лицу с директором Новой Гуты, начальником телевидения, со смехом предугадывая, что я сделаю в той или иной сцене. Помню, как Анджей отреагировал на мою ногу, поставленную высоко на дверную раму, когда я не хочу выпустить этих людей из просмотрового зала... Он пришел в восторг, прилепил мне сам штанину пластырем, чтобы выглядело красивей. Форму они брали от меня, а сами улаживали вопрос идеологически.



Так возникали сцены, мы преодолевали все новые барьеры, но Вайда со своими сотрудниками всё никак не могли найти какую-нибудь частную сцену, показывающую, кто я есть на самом деле. Были идеи, например, показать, как я занимаюсь дзюдо, но это было бы масло масляное. И вдруг они поняли, что это должна быть совершенно противоположная сцена.

— *И какая же? Из личной жизни?*

— Однажды я рассказала Анджею (с которым я вообще много разговаривала) о своем дедушке. О том, что он, вероятно, вообще бы не понял, как можно снимать такой фильм, как «Человек из мрамора». Он сказал бы: «Как это? Деньги дали на фильм, о котором никто не знает, каким он будет. Утвердили же другой сценарий. А если его не выпустят на экран?»

Это захватило Анджея. Он увидел, что существует мир людей, которые вообще не понимают, зачем делать этот фильм. Не понимают революционной идеи сделать «Человека из мрамора».

И так возник образ моего отца в кинофильме — Козеня, железнодорожника из маленького городка, который произносил с экрана точно такие тексты, как мой дедушка.

— *Во время съемок вы говорили о политике? Вайда вам что-нибудь объяснял?*

— Нет, он считал очевидным, что все мы понимаем, что делаем. Он был прав, потому что уже на третий день я поняла, о чем этот фильм и что в связи с этим важно в моей роли.

— *Вы не боялись, что кто-то из начальства придет на съемки, начнет вмешиваться?*

— Об этом что-то говорилось, но мне это казалось неважным и имело мало отношения к тому, что мы должны были сделать. Кроме того, я была уверена, что они как-нибудь с этим справятся. Ведь это же Вайда! Он знает, что нужно делать!

Когда после монтажа он позвонил мне и сказал, что фильм, вероятно, на экраны не выйдет, для меня это не имело значения. Так же, как и вопрос, кто именно не дал ему ходу. Да пусть бы меня даже арестовали.

Для меня было главным, что мы сняли фильм, что я встретила Вайдю и пережила что-то очень важное. После трех месяцев работы над фильмом я стала другим человеком.

— *В каком плане? Политическом?*

— Да дело даже не в этом. Я четко осознала, какой актрисой хочу быть, какую профессию выбрала и как основательно можно подходить к теме. Меня поразило, что произведение искусства может вызывать такие эмоции, что какой-то фильм

может так сильно задевать людей, власти и цензуру.

Я узнала, что всякий раз нужно идти до последнего, а посредственное, тепленькое вообще никому не нужно. Я вынесла из этой работы несколько основополагающих истин на всю жизнь: что нужно быть смелой во всем — и в теме, и в средствах выражения. Что любая перестраховка, конформизм себя не оправдывают. Нужно все делать на самой высокой ноте. Сказать все как нужно, до самого конца. Так, чтобы это имело значение. И не ждать, пока игра сама наполнится содержанием.

Роль была такая, что можно было сыграть просто журналистку, но Вайда хотел, чтобы я сыграла Антигону, Федру, Медею... Чтобы это было что-то запредельное.

— *А кем вы были как актриса, когда приступали к работе?*

— Я вообще не была еще актрисой, еще ничего не сыграла. Я только начинала.

— *Это отразилось на роли Агнешки?*

— Эта роль сыграна ужасно. Я не могу на себя смотреть. С точки зрения профессиональной она совершенно пустая: избыток формы по отношению к содержанию.

— *Что это значит?*

— Что, например, мой крик не до конца естественный. У меня внутри просто не хватало воздуха, чтобы его наполнить. Хотя я и понимала этот крик, во мне было слишком много эмоций. В жизни я кричала бы то же самое и точно так же. Но тут не хватало профессионализма.

Или сцена в ватнике на крыше здания в Новой Гуте. Анджей вообразил, что я продемонстрирую этот рабочий ватник как на показе моды в Париже. Теперь я сыграла бы это без проблем, с иронией, подтекстами. Тогда же было 28 дублей!

Я еще не знала, что и как фиксирует камера. Прежде я выступала вообще только перед преподавателями. Я не представляла, с какой точностью камера наблюдает за моими глазами, руками. Что глаза могут выразить больше, чем кивок, жестикация.

Многие сцены сегодня я не могу видеть, например, когда я сижу на лестнице и курю сигареты, в то время как эти люди с телевидения смотрят мой фильм. Вайда пришел в восторг от моей манеры курить. В кино это выглядит неестественно.

На съемках все от меня было в ужасе, считали, что я абсолютно неспособна и играю как ножом по стеклу. Коллеги шутили, что мы делаем «Челюсти» с Яндой в главной роли.



— *Иногда стресс мобилизует. Вам это помогло?*

— За меня был Анджей Вайда, а это главное. Я думаю, что молодому актеру всегда трудно, когда не хвалят: невозможно хорошо играть «против всех». Помню, когда я узнала о сомнениях и шутках коллектива, то плакала и вообще уже не хотела играть.

Помню еще, как Анджей объяснял мне, что я сама себя удивила и должна продолжать. «Это что-то совершенно новое, и они этого не понимают. Ничего не смягчай, продолжай по-своему», — говорил он. Но это было очень трудно: я чувствовала, будто делаю что-то, что всех ужасно отталкивает.

— *Ныне фильм известен, тогда же рецензии на него были разгромные.*

— После премьеры хлынула лавина отрицательных рецензий, это был очередной барьер, который я должна была психологически переступить. Не имело значения, обо мне ли идет речь или меня только используют против Вайды. Я была просто молодой женщиной, на которую обрушилась волна ненависти. Целый год я провела в депрессии.

Люди стали переносить суждения о моей игре на то, какая я женщина. Мне звонили мужчины, один сказал: «Из-за вас я избил жену, таких женщин не бывает, это неправда. Что это за чудовище!»

Это было страшно, но роль все до сих пор помнят — значит, с поставленной передо мной задачей я справилась. Но помню я и то, как после премьеры пришла к Яцеку Куронию, который встретил меня так, будто я для них заново родилась. А драматург Януш Гловацкий сказал: «Ну, да ты теперь в энциклопедии!» Только я тогда этого не понимала.

Болеслав Михалец, который спустя десять лет преподавал режиссуру в американских университетах, рассказал мне, что после просмотра «Человека из мрамора» американские студентки впервые отважились представить собственные сценарии. А на занятия пришли в джинсах.

— *Пригодились ли вам в работе у Вайды знания, полученные в театральной школе?*

— В театральной училище я учила язык, на котором должна общаться со зрителями. Начатки этой азбуки я уже прошла. На мое счастье, мне не попался в школе преподаватель, который бы заставлял меня ему подражать, что теперь, мне кажется, является главным грехом Академии.

— *Что в Вайде вас поразило?*

— Вечные сомнения. Нам казалось, что мы всё хорошо сняли, что получилась интересная сцена, но Анджей постоянно сомневался, не нужно ли было это сделать совершенно иначе. Для меня это было глубоким откровением, особенно после общения с миром, где все собой довольны: сделают на грош, а нос задирают на миллион.

Театральная школа ориентируется на уже известный канон, признанную истину. Вообще система образования ориентируется на какой-то образец. А Вайда отвергал любые образцы, каноны, привычный образ мыслей. Для меня это было как родниковая вода.

— *Был ли Вайда в вашей профессиональной жизни самым важным человеком?*

— Был еще профессор Александр Бардини с его трезвым взглядом на мир, профессиональным цинизмом, безжалостным разрушением иллюзий. Вайда — это ясность, перспектива что-то открыть, рассказать, объяснить, прийти в восторг, прыгнуть куда-то высоко... Бардини — это осознание, кто ты есть и чего в связи с этим не сыграешь, логическое мышление и рассеивание чрезмерных надежд. Вопреки тому, что часто можно услышать, он учил, что не бывает настоящего актера без настоящего человека. Он считал, что кончилось актерство, состоящее в том, чтобы вкладывать произвольный образ извне в совершенно другого человека.

Искусство все больше приближается к жизни, произведения полностью вымышленные встречаются чрезвычайно редко. Кино, телевидение, современный театр не допускают этого, в каждой роли требуется многое взять от себя, опираться на себя. Поэтому сначала нужно себя понять, осознать, кто ты есть, какое производишь впечатление, и на основании этого работать.

Это одна из важнейших вещей, которые я до сих пор узнала. Каждый мой замысел основан на моем знании себя.

— *Насколько роль Агнешки повлияла на ваш образ?*

— Это и сегодня имеет значение! Месяц назад я пошла на встречу в кафе «Радио Свободная Европа». После того, как я 25 лет проработала, сыграла такие, сякие и прочие роли, ко мне подошел человек и сказал: «Спокойная Янда? Быть того не может!» Этот стереотип живуч и сейчас. Но я с ним не борюсь.

— *Вы никогда не чувствовали себя зажатой в его рамки?*

— Нет, потому что потом я очень быстро начала играть другие роли. В кино шел «Человек из мрамора», а в театре я уже была Анелей в «Девичьих обетах».



— Но роль Агнешки влияла на тип ролей, которые вы принимали либо отклоняли?

— Много ролей я отвергала, так как не могла испортить того, что Анджей, а потом Рышард Бугайский, у которого я сыграла в «Допросе», и другие люди из меня «вылепили». Это было чувство ответственности, но и своего рода давление. Люди на улице так по-особому со мной здоровались...

Роль алкоголички, женщины несколько легких нравов в «Любовниках моей матери» Пивоварского, я решила принять только через 12 лет. Я подумала, что все изменилось и что я уже могу себе это позволить. Впрочем, Анджей это одобрил.

— Обычно актеры против того, чтобы их отождествляли с определенным образом. Вы же добровольно на это согласились и откровенно не дали этот образ разрушить.

— Да, потому что роль Агнешки была не только моим делом. Я выступила в фильмах об истории этой страны, прямо касающихся жизни людей. Они, собственно говоря, выполняли роль документов, особенно «Человек из железа», снятый через год после исторических событий, — люди его и воспринимали как документальный.

Когда мы делали этот фильм, к нам приходили мужчины, показывали пулевые ранения, приходили матери, которые потеряли детей, жены, потерявшие мужей. Мы искали могилы людей, которые совсем недавно пропали без вести... На мосту в Гдыне, рядом с верфью, один человек рассказал нам, что заказал себе значок «Солидарности» из золота. Это было и для Вайды, и для меня страшным давлением, ответственностью.

Тогда, пятью годами позже, я уже была совершенно сознательным, сложившимся, взрослым человеком. Я четко поняла, какую роль сыграл «Человек из мрамора». Я осознала, где живу, в какой точке мира нахожусь, что раньше не было для меня столь ясно. Когда я узнала, что буду играть в «Человеке из железа», то спросила только, буду ли на самой верфи.

— Вы разочаровались, когда узнали, что нет?

— Да, потому что после «Человека из мрамора» я была уверена, что там окажусь. Но там не было для меня места. Сейчас я понимаю, что Анджей был прав. Тогда он объяснил мне, что ему нужна женщина, мать, полька... Муж на верфи, которого то и дело задерживают либо допрашивают, ребенок, безденежье и старания сохранить

брак, семью. Мужчины делают революцию, а женщины стоят в очередях.

Как-то он сказал, что, к сожалению, должен посадить меня в тюрьму, и мне надо своими словами рассказать то, что ему не удалось снять, так как у него нет ни танков, ни разрешения на съемки с оружием.

Я не была персонажем, который меняет ход событий. Чтобы им быть, мне надо было бы, наверное, сыграть Валенсу.

— Валенса был свидетелем на вашей киносвадьбе с Мачеком Биркутом.

— Он приехал на три минуты, сказал, что очень рад, что может нам помочь, и уехал. Уже тогда он был очень занятым человеком. То, что он согласился сняться, имело для фильма огромное значение.

— Когда Вайда получал «Оскара», он произнес речь, в которой обратился, в частности, к событиям, показанным в этом фильме. Потом он объяснял, что не может же он, будучи родом из этой части Европы, благодарить какую-то тетю, которая-де ему помогла, — у него другие обязательства...

— Вот именно, это накладывает обязательства. Я не произнесла с экрана ни одной фразы, под которой не могла бы подписаться. Я не стала бы также играть роль без какого-то гуманистического начала, которая несла бы только разрушение. Не говорю уже о рекламе. Мне кажется, все могут сниматься в рекламе, кроме меня. Через мои губы и глаза прошли слишком важные фразы, чтобы теперь я могла воспевать макароны. А мне предлагали действительно крупные суммы, которые обеспечили бы меня надолго. Я рассказываю это не для того, чтобы выглядеть святой. Я просто не представляю, как могла бы нанести такую обиду Анджею или Рышарду Бугайскому. Хотя молодежь, которая смотрит «Допрос» — фильм о женщине в сталинской тюрьме, — считает, что это научная фантастика!

— Ныне популярна точка зрения, что актер — это просто наемный работник.

— Обижаться здесь не на что, ибо актер уже не выполняет такой функции, как раньше. Мы мечтали, чтобы эта профессия, наконец, освободилась от таких обязательств, от бремени, которое она несла так долго. Это действительно было в тягость. В годы военного положения я работала во Франции и не участвовала в бойкоте телевидения. Мне была незнакома эта атмосфера. Я приехала в Варшаву незадолго до мессы в церкви творческих кругов, во время которой кардинал Глемп сказал, что



актерам следует вернуться на телевидение. И вдруг я слышу, как он говорит, что здесь, мол, сидит госпожа Янда и он надеется, что она откроет те двери на телевидение, которых не открыла в «Человеке из мрамора». Я подумала, что сошла с ума. Почему я? К чертям собачьим!

Эти дилеммы имели мало общего с художественными проблемами. В то время артисты делились на «нас» и тех, кто служит «им». Приятно было сознавать, что у тех нет таланта, а если есть, то меньше, чем у нас. Вот это ужасно.

Талант — удивительная вещь: меня всегда считали человеком, который на экране выглядит очень интеллигентно. Многие актрисы, умные и интеллигентные, на экране выглядят глупее. Я не знаю, в чем тут дело: может, что-то во взгляде, умении выдержать вопрос, паузу перед ответом, манере слушать... Это тайна актерской профессии. На экране я похожа на человека, который понимает, что с ним происходит. Когда я говорю, люди мне верят.

Как-то в Польшу приехал один советский режиссер и любой ценой хотел взять меня на роль студентки, кажется, швейцарской, которая подает голодному Ленину кусок хлеба. Он говорил: «Ведь у вас такие глаза... если вы ему подадите, это будет важно, у вас такая свобода». Я отказалась, и у меня были из-за этого неприятности: меня вызывали в управление кинематографии, в министерство культуры... Спасло меня то, что я была беременна.

Зато многие считают, что в кино мне не удалось сыграть любовь.

— Но ведь это же стереотип: либо интеллект — либо эмоции. Почему вы не умеете сыграть любовь?

— Некоторые говорят, что дело во взгляде, в котором будто бы всегда таится какой-то анализ. Любая истина тут же отражается на лице. Я не знаю, как получается, что люди верят в чью-то любовь на экране. Может, дело в том, что после каждой фразы следует точка. Может, это означает: «люблю — и все тут». А не: «люблю, но...»

— А это так важно — уметь сыграть любовь?

— Это непереносимое условие моей профессии! Я уже 25 лет стараюсь, но, кажется, у меня это так и не получилось.

— Вайда говорил, что хотел бы снять третью часть «Человека из...» с женщиной в главной роли, и назвал ваше имя. Вам что-нибудь об этом известно?

— Ничего. Мне самой интересно, о чем был бы этот фильм. Знаете, в последнее время я много думаю о своем отце. Мои родители родом из Стараховице. Отец работал с 13 лет на заводе «Стар». Потом окончил

вуз, и мы переехали в Урсус. Сперва дома я слышала о комбинате в Урсусе, который способен переключиться в течение 20 минут с выпуска тракторов на военное производство. Затем он начал строить Центральный вокзал, и я только слышала, что его нужно построить в срок, потому что по решению какого-то там съезда он должен быть сдан тогда-то и тогда-то. Кончили с вокзалом — началась Лазенковская трасса, снова спешка, выбоины в асфальте... Дитя социализма. О политике дома не разговаривали. Не хочу сказать, хоть, может, и надо, что он был наивным, — но систему он не подрывал. Он хотел только делать свое дело, часто ценой собственного здоровья. Я его очень любила. Его позиция была абсолютно чиста. Потом я оказалась среди людей, которые хотели изменить систему. Их позиция была столь же чиста.

А я надо всем этим промелькнула как птица — и над моим отцом, и над «Человеком из мрамора». И надо всей историей этой страны. Я сумела обе эти позиции понять, в то же время взрослея, оценивая, совмещая. Я согласна и с тем и с другим.

— Ваш отец видел «Человека из мрамора»?

— Только много лет спустя по телевидению. Сказал лишь, что я была неестественной. И был прав. Он это почувствовал, потому что знал меня. О содержании фильма мы не говорили. И это тоже правда обо мне. Я сумела сыграть в таком фильме, но не хотела о нем говорить с моим отцом. Мне не хотелось расшатывать, ломать его жизнь, чего-то его лишать.

Когда оказалось, что как актриса я зарабатываю больше, чем отец, он сказал: «А на то, чтоб ты могла так выставляться, работает производственная сфера». Тогда меня это привело в восторг. Но при этом отец никогда не уходил спать до моего возвращения из театра, а возвращалась я иногда в два часа ночи. Когда он уже был болен и не мог двигаться, он мечтал, чтобы я провезла его по построенной и к тому времени уже сильно разрушенной Лазенковской трассе. Построенной тоже им.

И я провезла его, на белом БМВ, в молчании. Он не произнес ни слова. Сегодня его уже нет, но перемен он дождался. Он следил за ними из кресла, с экрана телевизора. Не знаю, о чем он думал. Считал ли он, что впустую растратил жизнь?

Быть может, моя задача — осмыслить все это и облечь в форму, выразить все эти вещи. Пусть каждый делает то, на что он способен.

Беседовала КАТАЖИНА БЕЛЯС

Александр Шенкер



Александр М. Шенкер родился в Польше. Был профессором известного Ейльского университета в Коннектикуте, США. Руководил департаментом славянских языков и литератур.

МЕЖДУ ПИТЕРОМ И РИМОМ

О «Памятнике Петру Великому» Мицкевича написано много, и больше всего, разумеется, о соотношении этого стихотворения с «Медным всадником» Пушкина*. Здесь я хотел бы затронуть лишь один аспект этой темы, а именно роль, которую сыграл римский памятник Марку Аврелию в истолковании Мицкевичем памятника Петру Великому в Петербурге, а также противопоставить этому истолкованию замысел создателя петербургского памятника, французского скульптора Этьена Мориса Фальконе.

«Памятник Петру Великому» — четвертое из цикла стихотворений и поэм о России, составляющих «Отрывок» III части «Дзядов» Мицкевича. В нем говорится о встрече двух молодых людей возле памятника Петру Великому на Сенатской площади в Петербурге. Идет дождь. Герои стихотворения укрываются одним плащом. Один из них — «сын Запада, неизвестный был пришлец»** (так представляется сам Мицкевич). Другой «был русский, вольности певец, / Будивший Север пламенным глаголом», т.е. несомненно Пушкин. Попытки отождествить его с Кондратием Рылеевым неубедительны: трудно себе представить, чтобы Мицкевич, отлично знавший русскую литературу, так назвал поэта, о творчестве которого даже не упомянул в своих парижских лекциях. Это мог

быть только Пушкин, с которым Мицкевич был дружен во время пребывания в России. Это, кстати, подтверждается и письмом Одынца Корсаку и Ходько от 3 октября 1830 г.: «Адам даровал мне в собственность свой испанский плащ... Однажды, как он сам рассказывал, в проливной дождь он укрывался им вместе с Пушкиным у памятника Петру В[еликому] в Петербурге» (Письма из путешествия. Варшава, 1961, т.2., с.587). Вдобавок, если завеса безымянности, за которой Мицкевич скрыл личность поэта, имеет смысл по отношению к еще живому Пушкину, она не имеет смысла по отношению к Рылееву, казненному в 1826 г., за шесть лет до того, как написан «Памятник Петру Великому».

Впрочем, неважно, с кем встретился Мицкевич у памятника Петру Великому и произошла ли вообще такая встреча.*** Мицкевичу было важно одно: чтобы автором мятежных слов стихотворения был русский, а не поляк и чтобы двое стояли под одним плащом. Символика общего плаща очевидна. Он обостряет ощущение дружбы, соединяющей молодых людей, и усиливает их близость. Он также представляет собой защиту от опасности, а некая неясная опасность пронизывает все стихотво-

* Юзеф Третьяк. Мицкевич и Пушкин (1906); Вацлав Ледницкий. «Медный всадник» (1930); Юлиейнер. Мицкевич (1948); Вацлав Кубацкий. Пальмира и Вавилон (1951) [все по-польски]; Дмитрий Благый и Этторе Ло Гатто в том же, посвященном юбилею Мицкевича (1958). В последнее время эту тему затронули Дмитрий Ивинский в книге «Александр Пушкин и Адам Мицкевич в кругу русско-польских литературных и политических отношений» (1993) и [по-польски] Рышард Пшибыльский в «Слове и молчании героя поляков» (1993) и Марта Зелинская в кн. «Поляки, русские, романтизм» (1998).

** Здесь и далее все цитаты из «Памятника Петру Великому» в переводе В.Левика (Адам Мицкевич. Стихотворения. Поэмы. М., 1968). — *Пер*

*** Может быть, нелишне напомнить читателю (хоть это и общеизвестные сведения), что один разговор близ памятника Петру точно имел место (вне сомнения, в декабре 1827 — январе 1828 гг., когда Мицкевич приехал «в отпуск» в Петербург, а Пушкин, кстати, пытался хлопотать о разрешении ему выехать в Польшу), но это был разговор не двух, а трех поэтов. Третьим был Вяземский, который позднее «на полях «Медного всадника» написал против строки «Россию поднял на дыбы...» следующие слова: «Мое выражение, сказанное Мицкевичу и Пушкину, когда мы проходили мимо памятника. Я сказал, что это памятник символический. Петр скорее поднял Россию на дыбы, чем погнал ее вперед». ...как раз эту строку своей поэмы Пушкин сопроводил ссылкой на «Памятник Петру Великому»: «Смотри описание памятника в Мицкевиче...» (А.Мицкевич, ук. изд., примечания). — *Пер*.



рение. Он не просто прикрывает их, но укрывает, создает атмосферу заговора, а нельзя забывать, что через год после приезда Мицкевича в Петербург Сенатская площадь стала сценой крупнейшего политического заговора XIX века — восстания декабристов. Дождь, второй реквизит мизансцены, нужен был автору не только для того, чтобы оправдать употребление плаща, но и как фон мрачного настроения, царящего в столице Российской империи.

Как неважно, случилась ли в действительности встреча у памятника, точно так же неважно, соответствует ли время встречи исторической действительности. Так как действие других частей «Отрывка» со всей очевидностью происходит в 1824 г., т.е. сразу перед приездом Мицкевича в Петербург и сразу вслед за ним, казалось бы, можно предположить, что и встреча на Сенатской площади должна относиться к тому же периоду, т.е. к концу 1824 или началу 1825 г., но в это время Пушкин был в ссылке. Два поэта познакомились и подружились только в октябре 1826 г. в Москве.

Не согласуется с исторической действительностью и истолкование памятника, вложенное Мицкевичем в уста русского поэта. Поэт произносит длинный монолог, сравнивая памятник Петру Великому с памятником Марку Аврелию, стоящим на Капитолийском холме в Риме. Сравнение это, как известно, оказывается не в пользу петербургского памятника. В Петербурге «венчанный кнудотерпец»

...коня не укротил уздой.

Во весь опор летит скакун литой,

Топча людей, куда-то буйно рвется,

Сметает всё, не зная, где предел,

Одним прыжком на край скалы взлетел,

Вот-вот он рухнет вниз и разобьется.

Лихорадочное *presto* этой картины уступает место степенному *largo* при описании памятника в Риме, где император, «любимец легионов»,

...с миром едет в Капитолий.

Сулят народам счастье и покой

Его глаза. В них мысли вдохновенье.

Величественно поднятой рукой

Всем гражданам он шлет благословенье.

Другой рукой узду он натянул,

И конь ему покoren своенравный.

Однако утверждение, что петербургский памятник изображает царя, которого несут стихии, не соответствует замыслу его создателя. Фальконе задумал апофеоз монарха-законодателя, который, осуществив свои планы, останавливается на рубежах своей страны и протирает руку в знак опеки. Памятник Марку Аврелию Фальконе знал прекрасно и концепцию его отверг сознательно, вопреки общественному мнению как в России, так и во Франции. Особенно тяжело было преодолевать нажим Ивана Белецкого, придворного Екатерины Великой, который был назначен управлять проектом памятника и его осуществлением и навязывал скульптору памятник Марку Аврелию как единственный пример, достойный подражания.

Любопытно, насколько отличаются мотивировки Фальконе и Мицкевича. Фальконе, отвергая памятник Марку Аврелию как образец, руководился художественными побуждениями. Мицкевич же, осуждая новаторский замысел Фальконе, рассуждает политически. Это привело к удивительному парадоксу, так как если считать, что памятник Марку Аврелию представляет античность и классицизм, а памятник Петру Великому предвещает приход романтизма, то революционный романтик Мицкевич оказывается на стороне классицизма и официальной эстетики, поддерживающей подражание античности.

Парадоксально и то, что, несмотря на общее антирусское звучание «Отрывка», истолкование памятника Мицкевичем по существу совпадает с мнением русских, высказывавшихся о памятнике подобным же образом как во время его создания, так и после, когда он уже стал частью петербургского пейзажа. Характерно, что Пушкин, полемизируя в «Медном всаднике» с ироническим описанием Петербурга в «Отрывке», никак не возражает против описания памятника у Мицкевича, а его вопрос:



Куда ты скачешь, гордый конь,

И где опустишь ты копыта?

— это прямой отклик на слова Мицкевича (см. выше, последние три стиха в подстрочном переводе. — *Пер.*).

У памятника Марку Аврелию такая долгая история, что он может претендовать на бессмертие. Он относится ко времени жизни самого императора, ко II веку по Р.Х., и остается единственной конной статуей, сохранившейся на поверхности земли с античности до наших дней. В Средние века не знали, кто там изображен, и приписывали всаднику самые разные имена — от императоров Адриана и Константина Великого до короля Теодориха Великого. Некоторое время даже думали, что он изображает Марка Курция, легендарного римского героя, бросившегося с конем в пропасть, чтобы спасти Рим от разрушения. Только в XVI веке было установлено, что памятник изображает Марка Аврелия. Тогда его перенесли из окрестностей Латерано на Капитолийский холм. Ныне там стоит его копия, а оригинал помещен в застекленную витрину внутри Капитолия.

Неудивительно, что вследствие столь богатой истории памятник стал считаться доказательством долговечности искусства и примером непрерывности традиций. Вершины славы памятник достиг в XVII-XVIII веках. К этой эпохе относится множество изображающих его рисунков и гравюр, а также бронзовых и гипсовых копий. Он получил тогда всеобщее признание (у таких, например, историков искусства, как Аддисон, Келюс и Винкельман) как классическая конная статуя, по образцу которой должны и в дальнейшем создаваться все памятники.

В чем состоит этот образец? Всадник сидит на коне, поднявшем правую или левую переднюю ногу. В одной руке он держит поводья, а в другой, простертой в сторону, — свиток пергамента, булаву, меч, головной убор или вообще ничего. Памятник стоит на высоком пьедестале, верхняя плоскость которого так мала, что конь на ней едва умещается. Этот образец умножался веками — от конных статуй Гаттамелаты в Падуе и Коллеоне в Венеции до памят-

ников местным сановникам во Флоренции и Пьяченце, а также французским королям от Генриха IV и до Людовиков XIV и XV.

Поперек пути этого триумфального шествия, сопровождавшегося повсеместными овациями, встал Фальконе. На место унылой лошади с одной поднятой ногой он поставил коня, на всем скаку взлетающего на настоящую скалу, становящегося на дыбы, скалящего зубы и раздувающего ноздри. Такого взрыва натурализма ни западные, ни восточные критики не ожидали. И почти единогласно они пришли к выводу, что этот памятник — умышленное и дерзкое оскорбление, нанесенное величию классических традиций.

Екатерина Великая знала об этом хоре возмущения, тем более что он раздавался и в ее ближайшем окружении и дирижировал им Иван Белецкий, тогдашний «комиссар» изящных искусств. Но императрица разбиралась в искусстве, обладала хорошим вкусом и смело поддерживала новаторские идеи. Она была восхищена жизненной силой и энергией фальконе-товского коня, разрывом Фальконе с традициями классической скульптуры, в своей резкости подобным разрыву Петра с ненавистными ему традициями византийской Москвы. Она знала, что у нее на глазах, в ее столице, происходит важнейшее событие в истории конной статуи.

Однако скульптор, болезненно чувствительный неврастеник, нуждался не в похвале посторонних, будь то даже венчанных. Он ждал поддержки коллег по резцу и знатоков, но не встречал среди них одобрения. Наоборот, он слышал только речи о превосходстве памятника Марку Аврелию. Напрасно объяснял он, что конь, чтобы двигаться вперед, должен поднять две ноги — одну переднюю и одну заднюю (по диагонали), — что каждое произведение искусства должно делаться на свой лад, что у коня Марка Аврелия непропорционально толстая шея, что античные художники делали такие же ошибки, как и современные, что изображать красоту природы можно множеством разных способов. Критика не утихала.



Исключением был Дидро, который поддерживал замысел своего друга и в письмах в Петербург с иронией описывал ему настроения парижских критиков: они только и ждали, чтобы фальконетов конь рухнул. В конце концов несдержанный и охотно бравшийся за перо Фальконе решил ответить своим критикам подробной защитой своего замысла. В 1771 г. он издал в Амстердаме брошюру под заглавием «Заметки о памятнике Марку Аврелию». Хотя он посвятил ее Дидро, вторым адресатом были «антикоманы», т.е. критики, преклонявшиеся перед античным искусством. Вот два из начальных предложений в книге Фальконе: «Голова, шея, чресла, ноги, поступь — одним словом, весь конь Марка Аврелия не заслуживает своей репутации. (...) Я предаю огню речи всех тех, кто друг за другом повторяет одно и то же, словно дети, повторяющие сказочки своих нянек».

Через три месяца после выхода в свет брошюры Фальконе в парижском двухнедельном журнале «Корреспонданс литтерер» появилась краткая рецензия на нее. Она была полностью отрицательной и неслыханно резкой. Ее анонимный автор объявил Фальконе «агрессивным и наглым», а его характер и талант — не заслуживающими восторга, ибо «гений не ходит об руку с мелочностью и умственно-духовной ограниченностью». Рецензент осудил Фальконе за критику памятника Марку Аврелию и недооценку величия античного искусства и заподозрил его в зависти, вызванной тем, что скульптор не сумел сравниться с этим образцом.

Фальконе вышел из себя. Его подозрения насчет личности рецензента остановились на Дидро, который часто печатался в «Корреспонданс литтерер», особенно по вопросам искусства. Вероятно, он счел, что Дидро, хоть и поддерживал раньше его замысел, обиделся на укоризненные слова о том, что писательская профессия еще не дает оснований выносить суждения об искусстве.

После обмена резкими письмами Фальконе замолк. Попытка Дидро восстановить дружеские отношения осталась безответной.

В октябре 1773 г. Дидро приехал в Петербург. При случае он вручил Фальконе свою рецензию на его брошюру, видимо, чтобы доказать скульптору, что автором заметки в «Корреспонданс литтерер» был не он. Рецензия была критической, но не сокрушительной. Дидро упрекал Фальконе в том, что он говорит о своей статуе, когда существуют лишь ее гипсовые модели. Он спорил с утверждением скульптора, что людям, восхищающимся римским памятником, не хватает вкуса. Убеждал его, что, прежде чем критиковать античное искусство, надо самому сделать что-нибудь получше. В первую же очередь он защищал право литератора на суждения о произведении искусства, ибо, по его словам, творческое воображение человека пера может быть более плодотворным, чем воображение художника. Художники к тому же, добавлял он не без язвительности, — часто плохие художественные критики. В конце он раскритиковал тяжелый характер Фальконе, утверждая, что даже если бы тот и был прав, то столь самонадеянный и задиристый тон его рассуждений настраивает читателя против него.

Казалось, они разошлись окончательно. Тем не менее через несколько недель после своего приезда Дидро посетил мастерскую Фальконе, чтобы осмотреть гипсовую модель памятника. Уходя, он оставил письмо на нескольких страницах со своими впечатлениями. Оно столь восторженно, что трудно усомниться в искренности автора. Вот, например, что говорится в письме Дидро:

«Я знал, что ты очень способный человек, но разрази меня гром, если я предполагал, что у тебя нечто подобное в голове! (...) Твой памятник... поражает красотой с первой встречи, а при следующих мы покидаем его с сожалением, и он навсегда остается у нас в памяти».

Но это еще не все. Дидро вознес хвалу не только скульптурному мастерству Фальконе, но и его критическому чувству. Отступая от прежнего мнения, он признал, что «конь Марка Аврелия — жалкое зрелище неудачно выбранного животного. Он не имеет реалистической подлинности... и в то же время не преобразует дей-



ствительность смело. (...) У коня тяжелая голова. Деталям морды, глаз и шеи не хватает изящества и гибкости. Складки на шкуре выглядят, как выдолбленные шрамы. Осматривая памятник спереди, не знаешь, кому принадлежит передняя часть головы... волю или быку. (...) Брюхо раздутое и тяжелое. (...) Очевидно, что задние ноги коня тащатся, а передние гарцуют — позиция невероятная и невозможная. (...) Прощай, друг! Знай, что ты сотворил самое благородное произведение этого жанра в Европе».

Получив такую оценку, Фальконе мог рассчитывать, что Дидро останется его союзником. Это, однако, не сбылось. Правда, Дидро больше не защищал памятник Марку Аврелию, но был далек и от того, чтобы полностью благословить суждения, высказанные Фальконе в его «Заметках...». Труднее всего ему было согласиться с утверждением, что люди пера не могут быть хорошими художественными критиками, так как не обладают надлежащими знаниями, не могут понять и оценить творческий процесс. Будучи любителем искусства и напечатав несколько рецензий на луврские Салоны, Дидро чувствовал себя лично задетым. В отместку он резко раскритиковал первую работу Фальконе, статую Милона Кротонского, предупреждая скульптора, что «бронза истлевет, мрамор крошится, а наши слова остаются на века».**** Это был последний гвоздь в гроб былой дружбы.

Почему же еще не в таком отдаленном прошлом конная статуя настолько возбуждала страсти, что отношения между людьми завязывались или рвались в зависимости от отношения к памятнику Марку Аврелию? Чтобы ответить

на этот вопрос, нужно отдать себе отчет в специфике конной статуи. Она изображает вождя какого-либо социального или идеологического сообщества, обычно монарха или героя. Роль памятника — идеализировать и визуально конденсировать политическую мысль вождя. Памятник символизирует ее и пропагандирует, становится звеном в цепи единства данного сообщества. Как всякий инструмент рекламы или пропаганды, он подчинен известным правилам, от которых разрешено осторожно отклоняться, но с которыми не позволено открыто рвать. Грех Фальконе состоял именно в том, что он объявил открытую войну праобразцу, освященному традициями, и тем самым нарушил их непрерывность. *****

Дидро, гражданин далекой Франции, был способен взглянуть на оба памятника глазами историка искусства. Он смирился с памятником Петру Великому, когда понял его художественное превосходство над памятником Марку Аврелию. Для Мицкевича же памятник Фальконе не был произведением искусства, свободно плавающим в политическом вакууме. Войны Петра, в отличие от войн Марка Аврелия, затрагивали то, что его будоражило. Поэтому он не мог смотреть на памятник Фальконе иначе, нежели глазами историка отношений Польши и России. Неудивительно, что с такой точки зрения этот памятник представился ему всего лишь апологией торжествующей империи.



**** Ср. «Ржавеет золото, и истлевет сталь, / Крошится мрамор — к смерти все готово. / Всего прочнее на земле печаль / И долговечней — царственное Слово». — Пер.

***** Прибавим еще одно свидетельство в доказательство художественной победы Фальконе: «После отъезда Фальконе, в полном смысле слова выжитого из России бюрократизмом и недоброжелательством, когда прочеканенная статуя готовилась к установке на постамент и в нем принародно сверлили дыры для креплений длинных железных штырей, оказалось, что соразмерность замечательной работы скульптора была такова, что статуя вертикально держалась сама собой, без штырей и без заливки свинцом» (Александр Фейнберг. Заметки о «Медном всаднике». М., 1993). И автор прибавляет: «Нечто подобное мы видим и в произведениях нашего великого поэта». — Пер.



Адам Мицкевич

Перевод с польского
Анатолия Якобсона

К РУССКИМ ДРУЗЬЯМ

Н. Горбаневская

К ПУБЛИКАЦИИ НОВОГО ПЕРЕВОДА СТИХОТВОРЕНИЯ «К РУССКИМ ДРУЗЬЯМ»

Готовя к публикации в этом номере «Новой Польши» статью, посвященную русским связям Мицкевича, я натолкнулась на, казалось бы, неодолимое препятствие. Одну из знаменитых строк в стихотворении «Русским друзьям» (или «К русским друзьям») переводчик честно привел в переводе В. Левика, но сути предложения, где приводилась эта цитата, стихотворная строка никак не отвечала, в то время как по-польски все было в порядке. Памятуя, что в свое время в «Континенте» был (посмертно) впервые опубликован перевод того же стихотворения замечательного переводчика и литературоведа Анатолия Якобсона, я обратилась к этому тексту, и в переводе статьи все стало на место.

Рассказ об этой «редакторской кухне» приведен лишь затем, чтобы объяснить, почему я нашла уместным предложить редакции сопроводить две статьи о Мицкевиче новой публикацией перевода Якобсона. Боюсь, что перевод Левика и до сих пор считается «хрестоматийным», как пишет об этом в послесловии к континентской публикации Владимир Фромер. Мне хотелось бы, чтобы хрестоматийным стал этот перевод, полный жизни, даже если в нем — как во всяком переводе — и остались отдельные малые недочеты.

Новая публикация производится с любезного разрешения московской редакции «Континента» (главный редактор Игорь Виноградов), которой были переданы права на перепечатку всего опубликованного в «Континенте» с его основания в Париже в 1974 году.

Вы — помните ль меня? Когда о братьях кровных,
Тех, чей удел — погост, изгнание и темница,
Скорблю — тогда в моих видениях укромных,
В родимой чередѣ встанут и ваши лица.

Где вы? Рылеев, ты? Тебя по приговоре
За шею не обнять, как до крошечных сроков, —
Она взята позорною пенькою. Горе
Народам, убивающим своих пророков!

Бестужев! Руку мне ты протянул когда-то.
Царь к тачке приковал кисть, что была открыта
Для шпаги и пера. И к ней, к ладони брата,
Пленѣнная рука поляка вплоть прибита.

А кто поруган злей? Кого из вас горячий
Из жребиев постиг, карая неуклонно
И срамом орденов, и лаской высочайшей,
И сластью у крыльца царѣва бить поклоны?

А может, кто триумф жестокости монаршей
В холопском рвении восславить ныне тщится?
Иль топчет польский край, умывшись кровью нашей,
И, будто похвалой, проклятьями кичится?

Из дальней стороны в полночный мир суровый
Пусть вольный голос мой предвестьем воскресенья
Домчится и звучит. Да рухнут льда покровы!
Так трубы журавлей вещают пир весенний.

Мой голос вам знаком! Как все,дохнуть не смея,
Когда-то ползал я под царскою дубиной,
Обманывал его я наподобье змея —
Но вам распахнут был душою голубиной.

Когда же горечь слез прожгла мою отчизну
И в речь мою влилась — что может быть нелепей
Молчанья моего? Я кубок весь разбрызну:
Пусть разъедает жѣльчь — не вас, но ваши цепи.

А если кто-нибудь из вас ответит бранью —
Что ж, вспомню лишний раз холуйства образ жуткий:
Несчастный пѣс цепной клыками руку ранит,
Решившую извлечь его из подлой будки.



Владимир Фромер

ГОЛОС С ТОГО СВЕТА

23 февраля 1842 года друг Пушкина Александр Тургенев, брат «хромого Тургенева» из декабристских строф «Онегина», записал в своем дневнике: «На последней лекции я положил на его (Мицкевича. — В. Ф.) кафедру стихи Пушкина к нему, назвав их «Голос с того света»».

Этот список стихотворения «Он между нами жил» с надписью Тургенева хранится сегодня в музее Мицкевича в Париже.

Так уж получилось, что надпись эту, «Голос с того света», можно отнести сегодня и к переводу стихотворения «К русским друзьям», сделанному Анатолием Якобсоном незадолго до смерти. Это послание Мицкевича несколько раз неудачно переводилось на русский язык, пока, наконец, перевод В. Левика не вытеснил все работы его предшественников. Сегодня перевод Левика считается хрестоматийным и входит во все сборники Мицкевича, издающиеся в Советском Союзе. К сожалению, перевод этот сделан «без божества, без вдохновенья». Левик не только не удалось воспроизвести ритмико-фонетическую поступь и интонационную динамику оригинала, он умудрился исказить ход мысли автора, составляющий единое целое с формой стихотворения. Причем смысловые отклонения от подлинника настолько существенны, что заставляют подозревать переводчика в сознательной недобросовестности. У Мицкевича сказано: «Klątwa ludom, co swoje mordują proroki», что в подстрочном переводе означает: «...проклятье народам, убивающим своих пророков». Левик же переводит: «проклятье палачам твоим, пророк народный». Как видим, Левик не только упростил Мицкевича, но и исказил, приписав ему банальную сентенцию. К тому же весь перевод Левика пестрит такими штампами, как «светлый дух», «братских полон чувств», «радостный призыв» и т. д., немыслимыми у поэта такого масштаба, как Мицкевич.

В отличие от ремесленной работы Левика, перевод Анатолия Якобсона — не слепок с оригинала, а живое воспроизведение, пусть и не воссоздающее в мельчайших деталях каждую подробность подлинника, зато обладающее теми же, что подлинник, качествами.

Якобсону удалось передать главное: взаимодействующее единство насыщенного ритма стиха с поступательным ходом мысли. Завершив работу над переводом Мицкевича за несколько месяцев до смерти, А. Якобсон еще успел отправить его в Москву Лидии Корнеевне Чуковской, мнение которой ценил чрезвычайно. Оценка Л. К. Чуковской его обрадовала, хотя ее критического замечания он не принял и продолжал считать строфы о Рылееве и Бестужеве своей творческой находкой. Лидия Чуковская писала: «Итак, о Мицкевиче: прочла Ваш перевод. Он замечателен богатством словаря академического и переводческого: такие словесные находки, как «погост», «череда» и «срам орде-нов» (браво!), «вещают пир». Да и кроме словесного богатства — поступь стиха передает величие, грозность. Но и недостатки представляются мне существенными. Две ударные строфы: о Рылееве и Бестужеве, не ударны, не убедительны, потому что синтаксически сбивчивы. «Рылеев, ты?» Найдено очень сердечно, интимно, а дальше — она (шея) взята позорною пенькою — сбивчиво, и вся строфа искусственна. То же и Бестужев. Даже до смысла я добралась не сразу, запутавшись в руке и кисти, тут синтаксис нарушен, то есть дыхание. (...) Перевод Левика ремесленная мертвечина, механическая. Вы его кладете на обе лопатки. Рядом с Вашим он похож на подстрочник».

Б. Пастернак писал: «Подобно оригиналу, перевод должен производить впечатление жизни, а не словесности».

Такое впечатление жизни удалось передать Анатолию Якобсону в переводе одного из лучших стихотворений европейской лирики.

«Континент» №41 (1984)



Мария Пруссак

РУССКИЕ ДРУЗЬЯ И НЕДРУГИ

18 декабря 1834 г., вернувшись с петербургского придворного бала, который давали в Аничковом дворце, Пушкин сделал в своем дневнике такую запись: «Я заговорил с Ленским о Мицкевиче и потом о Польше. Он прервал разговор, сказав: «*Mon cher ami, ce n'est pas ici le lieu de parler de la Pologne. Choisissez un terrain neutre, chez l'ambassadeur d'Autriche par exemple*».* Бал кончился в 1.1/2» (Адам Ленский, поляк по происхождению, ровесник Мицкевича, выпускник Варшавского университета, был чиновником департамента дел Царства Польского). Эта краткая, не замеченная биографами Мицкевича заметка Пушкина содержит едва ли не все сведения о положении в тогдашней России: служба поляков в ведомствах империи, обычаи в салонах и на балах, французский язык разговоров, ведущихся под непрерывным наблюдением и самоконтролем, и все еще вспоминаемый Адам Мицкевич, хотя с момента его выезда из России прошло свыше пяти лет, наполненных драматическими событиями и глубоким разрывом.

Замечание Пушкина, помимо всего прочего, свидетельствует, что Мицкевич по-прежнему оставался его личной проблемой. Письма Пушкина поры восстания 1830-1831 гг. полны тревоги за Мицкевича, единственного поляка, чья судьба его действительно интересовала. В том же 1834 г. были напечатаны две переведенные им баллады польского поэта, а в ответ на «Отрывок» части III «Дзядов» он написал не изданное при жизни, но исполненное горечи и обиды стихотворение «Он между нами жил...». За год до этого Пушкин работал над «Медным всадником», где немало намеков на «Дзяды». В том же контексте следует, по-видимому, рассматривать и написанное год спустя, тоже неопубликованное при жизни подражание оде Горация (кн. II, 7). Берущее за душу стихотворение, полное тоски по утраченной дружбе и надежды на встречу, которое исследователи Пушкина не связывали с личностью польского поэта. Рассмотренное с этой точки зрения, оно приобретает дополнительный драматизм и выразительность:

*Кто из богов мне возвратил
Того, с кем первые походы
И браней ужас я делил,
Когда за призраком свободы
Нас Брут отчаянный водил?*

Именно в это стихотворение Пушкин вписал пронизанное ощущением вины признание в трусости, обращенное к потерянному другу:

*Ты помнишь час ужасной битвы,
Когда я, трепетный квириг,
Бежал, нечестно бросив щит,
Творя обеты и молитвы?
Как я боялся, как бежал!*

Как далеко этому стихотворению до триумфальных боевых кличей брошюры «На взятие Варшавы».

Дневниковая запись Пушкина позволяет ощутить те основные элементы, из которых складывается понятие «русские друзья» — совсем иное, нежели поэтический контекст «Отрывка» из «Дзядов» и резко проявившийся контекст военного и идеологического конфликта обоих народов в период восстания. Запись Пушкина вместе с вышеупомянутым стихотворением приближает нам облик человека с другой стороны дружеских отношений. Лишь все эти контексты в совокупности создают картину сложных русских связей Мицкевича. Вероятно, невозможно и не стоит их распутывать и выносить оценки,

* «Дорогой друг, здесь не место говорить о Польше. Изберем какую-нибудь нейтральную почву, у австрийского посла, например» (фр.)



ибо в них много сугубо личного и довольно подробно описанной в воспоминаниях обыкновенной, будничной, верной дружбы, которая не сводится к политическим взглядам и выходит за идеологические рамки. Литературоведу интереснее всего, как поэтически выразились эти дружественные и недружественные связи в творчестве Мицкевича и его русских собеседников по литературному диалогу. Биографический контекст может стать поддержкой такому анализу. Материалы, на которые можно сослаться, документы личной жизни, исключительно обильны. Столь же обильным и, как ни странно, малоисследованным с этой точки зрения представляются литературные тексты — здесь мы можем лишь в самых общих чертах обрисовать любопытный диалог, который ведется с помощью стихов. Диалог, состоящий из произведений, написанных на разных языках.

Об исключительной роли российского периода в творчестве Мицкевича писал Вацлав Ледницкий. Для поэта это была единственная эпоха, когда он воистину и до конца жил литературной жизнью, свободной от идеологической нагрузки, когда он нашел столь необходимую в момент формирования творческой личности среду, которую объединяли близкие ему эстетические принципы и отношение к окружающему.** Согласно концепции книги Ледницкого, посвященной русским связям Мицкевича, тот был поэтом в полном смысле этого слова исключительно в России. В поддержку этой концепции можно привести немало аргументов, в частности из писем самого Мицкевича. Но и после отъезда из России он не перестал быть предметом заинтересованности русских писателей и важной для них точкой отсчета. Так было в течение всего XIX века. Мицкевич безусловно был тогда для русской литературы в какой-то мере ее внутренней проблемой. Сам же он, когда писал о России после отъезда, делал это с отчужденностью и отталкиванием, как внешний наблюдатель, у которого индивидуальные черты стираются, а в картине страны, города и общества ярче проступают искривления, вызванные всеобъемлющей печатью деспотизма. Не до конца выяснено и не проявившееся непосредственно в его поэтических произведениях вращение в атмосферу городов, в которых он провел многие месяцы самого интенсивного периода своей жизни. В первую очередь — в мифотворческую атмосферу устной культуры, «салонного фольклора», творящего таинственный образ возникновения и предназначения Петербурга.***

Оптимизм концепции Ледницкого отчасти скомпрометирован недобровольным характером пребывания Мицкевича в России и не покидавшим его ощущением изоляции. Все это время поэт хлопотал о позволении либо вернуться в Литву (сохранилось даже письмо Пушкина на имя начальника III отделения фон Фока, где он просит удовлетворить эту просьбу), либо отправиться за границу. В конце концов благодаря помощи многочисленных друзей ему удалось уехать. Но и салонной жизни в тогдашней России была свойственна некая многослойная двусмысленность. Невольные свидетельства тому мы найдем в письмах Петра Вяземского к жене, где он многократно упоминает Мицкевича, посетителя балов и приемов. Среди сообщений об интеллектуальных и литературных разговорах, о беззаботных и шутовских забавах мелькают сжатые сведения, заставляющие задуматься над степенью этой беззаботности. Например, 12 мая 1828 г. Вяземский писал: «После биржевых устриц поехал я обедать к Перовскому также на устрицы. Там были сверх того Карбонье, Филимонов, Нечаев, Крылов, Пушкин, Мицкевич». Итак, на обеде рядом с писателями сидели и Лев Карбоньер, председатель Главного цензурного комитета, и Степан Нечаев, в ту пору чиновник собственной его величества канцелярии. Мир надзорных ведомств и мир литературы переплетается в сфере частной жизни, создавая сложную схему взаимозависимостей.

Великосветскую ловушку салонов и систему плотной слежки за всем и вся, вплоть до перлюстрации писем, пронизательно анализирует Лотман в своей книге о Пушкине. Поэтому нет смысла искать

** Сегодня сознание этого исчезло, доказательством чему служит замечательная книга Ю.М.Лотмана «Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя»: Мицкевич появляется там всего раз в связи с его романом с Каролиной Собаньской.

*** См. в особенности: Ю.М.Лотман. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Избранные статьи. Т.П. Таллин, 1992. Ту же сторону проблемы Мицкевича затрагивает Зофья Стафановская в связанной с работой Лотмана статье: Rosja w «Ustępie» III części «Dziadów» [Россия в «Отрывке» III части «Дзядов»] // Kraina pamiątek. Prace ofiarowane Profesorowi Bogdanowi Zakrzewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Pod red. J.Kolbuszewskiego. Wrocław, 1996.



в переписке Мицкевича признаний о том, как он проводил время в России. Достаточно и того, что сообщения варшавских газет о его светских успехах вызвали обостренный интерес тайной полиции. В письмах Мицкевича содержатся прежде всего литературные рассуждения. Нет в них и следа внутреннего напряжения, которое, по-видимому, было его уделом в этих обстоятельствах и разрядилось горьким пессимизмом стихотворения «К польке-матери» — оно заканчивается многозначительным предсказанием: «...Столб виселицы с петлей роковой» (пер. М. Михайлова). То же напряжение, вероятно, сопутствовало и Пушкину, когда он рисовал на черновиках силуэты повешенных и так зашифровал X главу «Евгения Онегина», что исследователи много лет спустя с трудом реконструировали найденные записи.

Польское восстание радикально изменило ситуацию и запутало дружеские связи, включая и литературные. Взаимопонимание уступило место резкой, переполненной личными чувствами полемике, чрезвычайно важной для обеих сторон, знаменательной и для творчества. Вначале появилась брошюра «На взятие Варшавы», содержащая спесивые панегирики Пушкина и Жуковского. Отклик на нее, думаю, можно обнаружить в «Редуте Ордона». Ответом на триумфальные стихи из «Русской песни» Жуковского:

*Поднялися и летят
Наши мстительные бомбы
На кипящий бунтом град.*

— стали «ядра и гранаты» Мицкевича, сеющие опустошение в рядах противника. Покоренный город из стихотворения русского поэта заменен у Мицкевича одним редутом. С иронией описывает Жуковский взятие укреплений:

*Что там ваши палисады!
Здесь не нужно лестниц нам!
Мы штыки вонзим в ограды
И взберемся по штыкам.*

Мицкевич берет и преобразует те же элементы картины — фашины и палисады (оба эти слова встречаются у Мицкевича только раз — в «Редуте Ордона») и, добавляя к ним русский боевой клич, поворачивает острие иронии в противоположную сторону:

*Вот они — ура! ура! — во рвах появились,
На фашины вот уже грудью навалились,
Вот чернеют на валу, лезут к палисадам...*

(Пер. С. Кирсанова)

Обожествлению царя, которым заканчивается еще одно стихотворение Жуковского на случай, «Русская слава», Мицкевич противопоставляет образ царя-антихриста и апокалиптический жест Бога. Тот же мотив он использует в кощунственной речи Конрада, когда молчащий Господь превратится в глазах героя «Дзядов» в царя-деспота. На стихотворное оскорбление, тем более болезненное, что написано когда-то близким знакомым, Мицкевич отвечает тоже стихами и мощными поэтическими образами.

Но настоящим ответом Мицкевича и одновременно жестом, перечеркнувшим подлинные воспоминания о пребывании в России во имя идеологически упорядоченного историософского творческого акта, были «Дзяды», прежде всего «Отрывок» со стихотворением, посвященным «русским друзьям» и поэтически судящим их по вине или по заслугам. Еще раньше, в драматической части произведения, отголоски двусмысленной салонной жизни отозвались в карикатурной сцене «Бала у Сенатора». В «Отрывке» Россия явлена как государство одновременно искусственное, милитаризованное и обозреваемое автором с высоты наподобие мира насекомых. Даже люди там еще не превратились в людей, они еще звери и деревья «полночных краев» («Дорога в Россию»), лица у них пустые, глаза тоже пустые, а душа гусеницы, и неизвестно, что выведется из кокона. У России в «Отрывке» нет национальной самобытности, в описании города — ни следов местного зодчества, ни богатой обрядности православия, на что обратила внимание в своей статье Зофья Стефановская.

Мицкевич отождествил здесь деспотизм и Россию. Извращенность создаваемой деспотом нечеловеческой архитектуры он перенес на жителей Петербурга. Перед нами то лишенная индивидуальных



черт стая знати: «Как будто шулер кинул карты эти» («Петербург», пер. В. Левика), то столь же безликая обратная сторона картины — угнетенные народы и страждущая, достойная сострадания толпа. Пилигрим, герой «Отрывка», и его товарищи — в этой толпе чужие, они наблюдают ее с любопытством и страхом, вслушиваясь в предсказания, сулящие гибель этой противоестественной и грозной конструкции.

В безликой толпе рассказчик «Отрывка» выбирает отдельные личности, к которым обращается; как противоположность этой толпе он создает модель «русских друзей». Модель, которой надлежит дополнить его историософскую картину. Поэтому неважно, какую конкретную встречу имеет в виду Мицкевич в «Памятнике Петру Великому» и кого он тут вспоминает — Пушкина или Рылеева. Хотя истинным собеседником в таком разговоре мог быть, конечно, только Пушкин. Тем горше упреки, появляющиеся в заключении цикла — стихотворении «К русским друзьям». «...русский, вольности певец» («Памятник Петру Великому»), укрывшийся от дождя под одним плащом с пилигримом, — это прежде всего такой же художественный образ, как и образ России. Он позволяет сохранить веру в то, что не вся Россия заражена деспотизмом, очистить истинные ценности, затертые военными конфликтами. Общность двух поэтов двух народов под одним плащом помогает возродить общую надежду на падение тирании, хотя уже в «Олешкевиче» пророчества русского поэта и польского художника звучат по-разному. Обосновавшийся в Петербурге поляк знает, что исторический катаклизм, взорвав тиранию, в первую очередь ударит по самым низам общества.

Но это единственный случай возвращения к общей памяти о прошлом. Ибо в недвусмысленном посвящении автор «Дзядов» делит своих русских друзей на жертвы истории и тех, кто выжил, — слабых, отравленных деспотизмом. Называя осужденных по имени, он противопоставляет их оставшимся на свободе, тем, кто был вынужден подчиниться царскому насилию, т.е. еще более стал его жертвой, ибо утратил внутреннюю свободу. В разоблачительном порыве Мицкевич возлагает на них же ответственность не только за продажную угодливость в польском вопросе, но и за былые репрессии: «Горе / Народам, убивающим своих пророков!» (пер. А. Якобсона). Его дружба, выраженная «вольным голосом» «из дальней стороны» и уже оторванная от общей судьбы, выносит именем этой вольности суровые приговоры. Кубок-талисман, полученный Мицкевичем от друзей-поэтов вместе с прощальным стихотворением Ивана Киреевского при отъезде из Москвы, он обращает в горький кубок с «желчью». Холодная отчужденность становится доминантой отношения автора «Дзядов» к русским друзьям. Это совсем иная перспектива, нежели та, что в стихотворении «К польке-матери», написанном внутри угнетенного общества и с сознанием общей судьбы.

Как же иначе могли откликнуться прежние друзья, нежели обращаясь к иному ощущению истины? Мицкевич оставался для них членом их прежнего круга, и они не противопоставляли ему собственную историософию, а напоминали об истине отдельных личностей, конкретных людей. Напоминали бы — если бы процесс литературного общения не был безнадежно нарушен парализующей деятельностью цензуры: все произведения Пушкина, в которых тот на протяжении лет вел свой разговор с Мицкевичем, при его жизни остались в рукописи, хотя Пушкин и добивался публикации важнейшего из них — «Медного всадника». Литературоведы многократно и подробно показывали, что искусная конструкция вступления к поэме — ответ Пушкина на композиционное построение «Отрывка». Спорили в основном об идейной функции этого ответа, а также о роли примечаний, содержащих ссылки на запрещенное в России произведение.

Важнейшее художественное решение Пушкина — смена угла зрения, взгляд на город и судьбы его обитателей с точки зрения отдельного человека, который сжился с ним и полюбил его. Это взгляд как рассказчика, так и героя поэмы. У Пушкина можно найти параллельные мицкевичевским картины с обратным знаком. Его образ Петербурга вначале светел, полон теплоты и нежного очарования. Столица России привлекает рассказчика не величием и роскошью, а красотой архитектуры и природы, динамикой наполняющей ее жизни. Рисуя те же, что у Мицкевича, места, Пушкин умышленно напоминает о радости встреч, блеске и обаянии салонной жизни и светского быта, об уличных ритмах:



*Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз,
И блеск, и шум, и говор балов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пуниша пламень голубой.*

Эту светлую, полную жизненной энергии картину города завершает противоречивое обещание: «Печален будет мой рассказ». Поэма в этом месте подхватывает пророчество Олешкевича, обращается к тому же конфликту, говорит о деспотизме, который, нарушая законы природы, уничтожает и человека, прежде всего человека из низов. Но Пушкин глядит с точки зрения индивидуальной судьбы случайной жертвы знаменитого наводнения 1824 года. Благодаря этому грозный пафос памятника Петру Великому из произведения Мицкевича заменяется гротеском. Царю, который над наводнением

*Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне,*

— поэт противопоставляет мелкого чиновника, спасающегося от стихии, вцепившись в гриву мраморного:

*На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел недвижный, страшно бледный
Евгений.*

На площади спиной друг к другу сидят они: один — торжествующий, другой — обуянный смертельным страхом. Не надо исторических пояснений, чтобы сильнее обнаружить абсурд строительных и общественных решений Петра. То же двустичие в чуть измененном виде появится во второй части поэмы, вводя дерзкие оценки рассказчика и подавленную попытку бунта героя, который, едва покусившись на угрозы, тут же бросился наутек. Обезумев, мечется он по городу и слышит за спиной топот Медного Всадника. От могущественного самовластья у Пушкина нет спасения. Гротескно сопоставленные картины раскрывают трагизм личности, угодившей в шестерни всемогущей государственной машины: этому человеку были бы не по плечу историософские представления Мицкевича о будущей свободе. Неуместна была и категоричность мировоззрения Мицкевича. Трагический пушкинский образ сильнее и полнее охватывает суть русской драмы с точки зрения неизбежного конфликта личности с деспотизмом власти.

Судьба пушкинской поэмы, как и других его стихов, в которых он продолжает разговор с Адамом Мицкевичем, стала частью той же драмы. Запрещенные цензурой, неопубликованные, они так и не попали в руки польского поэта — в противоположность агрессивной антипольской брошюре. В дружбу обоих поэтов ко всему прочему вторглась и трагедия непонимания. Даже литературный диалог оказался невозможен. Зато мотивы «Отрывка» III части «Дядюшка» сохранились в традициях русской литературы как своего рода вызов. В поэме Александра Блока «Возмездие», где есть ссылка на Мицкевича и на польские повстанческие традиции, они обернулись конфликтом двух городов — Петербурга и Варшавы. И вновь в описании Петербурга можно усмотреть переключку с картинами «Отрывка», а Варшава рисуется бунтующим, покоренным городом, где зреет неизбежное возмездие истории. Тема двух поэтов под одним плащом появляется и в стихотворении Брюсова «Вариации на тему «Медного всадника»», где он пытался соединить концепции обоих поэтов в единую картину осуществленной свободы двух народов. Это стихотворение было написано в октябре 1923 года. Брюсов использовал Мицкевича в службе идеологии, но похоже, что польский поэт сам облегчил ему задачу. Впоследствии появилось множество посредственных подражателей, набивавших оскомину все той же картиной. История XX века жестоко посмеялась над этим мотивом, превратив его в официальный образ двух гениев, прогрессивных народных трибунов, героев стихов на случай, славящих новую деспотию. Нужны будут еще немалые усилия, чтоб извлечь литературу из-под развалин доктрин и разобраться в ее многослойности.



Веслава Кордачук

СЕМЕН ЛАНДА

27 марта с.г. исполнилось 10 лет со дня безвременной кончины профессора Семена Семеновича Ланды, выдающегося знатока истории польской и русской литературы, исследователя творчества Мицкевича и Пушкина.

Семен Ланда родился 17 января 1926 г. в Николаеве, на юге Украины. Вскоре его семья переехала в Одессу. В 1941 г. его отец, служащий, ушел на фронт, а мать с двумя сыновьями успела до прихода немцев эвакуироваться в Ургенч Узбекской ССР. Там Семен учился в педагогическом техникуме, заканчивая два курса в течение одного года. В 1943 г. он поступил на работу в библиотеку института. В то время ему было 17 лет. Он решил отправиться на войну, изменил год рождения на 1923-й и был взят в армию. После обучения в военном лагере на юге Средней Азии его направили в войска 3-го Украинского фронта. В первом же бою его полк был разбит; в живых осталось едва полсотни человек. Пехотинца Семена Ланду направили в саперы. Он воевал в Румынии, Венгрии, Чехословакии и Австрии. В 1945 г. он работал в редакции фронтовой газеты, затем в газете Одесского военного округа.

Осенью того же года Ланда поступил на исторический факультет Одесского университета им. И.И.Мечникова. По абсурдному обвинению его оттуда исключили. Спустя несколько месяцев ему разрешили вернуться, но уже не на исторический, а на филологический факультет, который он и закончил с отличием в 1950 году. Спустя три года Ланда переехал в Петербург, где читал цикл лекций по истории польского театра в Театральном институте. Польской литературой и культурой он заинтересовался еще во время учебы.

В 1955 г. в ленинградском музее А.С.Пушкина С.Ланда организовал большую выставку, посвященную Адаму Мицкевичу. В 1958 г. в Институте славяноведения Академии наук СССР он защитил кандидатскую диссертацию, посвященную Адаму Мицкевичу и филоматам, а в 1971-м — докторскую, темой которой стала идеология движения декабристов.

В 1966 г. Институт литературоведения Польской Академии наук пригласил профессора Ланду в Польшу, где он прочитал цикл лекций о Мицкевиче.

Кроме официальной автобиографии, в архиве Семена Ланды имеется также краткая автобиография, написанная по-польски. В ней профессор писал: «Я специализируюсь по вопросам русской общественной мысли, польского романтизма и польско-русских общественно-литературных отношений. Опубликовал около ста научных работ, монографий, эссе и статей. (...) В рамках сотрудничества с Институтом литературоведения Польской Академии наук я подготовил Хронику жизни и творчества Мицкевича за 1824-1829 гг. (около 100 печатных листов)». Авторская машинопись этого труда, полное название которого — «Россия — историческая драма Адама Мицкевича. Хроника жизни и творчества Адама Мицкевича. 30.X/11.XI.1824 — 15/27.V.1829», — насчитывает более 1700 страниц.

Кроме материалов, связанных с Мицкевичем и другими польскими ссыльными, в бумагах профессора Ланды сохранилась богатая документация, связанная с поляками, проживавшими в Петербурге в XIX в.

Профессор тщательно исследовал архивные собрания России, благодаря чему его личный архив может быть богатым источником знаний для молодых полонистов и русистов.

Семен Семенович Ланда скончался в расцвете творческих сил 27 марта 1990 года.



Мирон Бялошевский

ИЗ КНИГИ «ДОНОСЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ»



Рышард Матушевский

О МИРОНЕ БЯЛОШЕВСКОМ

Он был поэтом, прозаиком, а также автором текстов для своего собственного, «приватного» театра, который организовал вместе с несколькими друзьями у себя дома на Тарчинской улице в Варшаве. Потомственный варшавянин, родившийся в 1922 г., он прожил в этом городе всю войну, трагические дни восстания 1944 г., здесь окончил подполь-

ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ — НОГА — ЗУБ

Отчет за январь и февраль 1970 (из триптиха болезни)

Просыпаюсь, тянусь за питьем влево, за пластинкой вправо, а тут вдруг под ложечкой... ой... желудок? желудок пройдет. Пластинка крутится, но не отвлекает, потому что чего-то там справа... печень?

Да. Ну и что? Желчный пузырь. Вроде получше. Встаю, хожу. Вроде нормально. Еду на Жолибож к Аде и Роману, но когда я уже там, расположился удобно, и пластинки крутятся, и они сидят, а я лежу, и мы болтаем, вдруг снова... От аппетитного творожника отказываюсь, от обезболивающих тоже, они-то как раз и могут на печень. Но все же беру, самую малость. И творожника тоже. Потом — совещание. Через полтора-два часа: а не творожник ли это? Похоже, все-таки желудок. Они подтверждают. Похоже. Лучше не есть. Но потом — я уже ничего не ел, и обезболивающих самую малость — чувствую: печень. Говорю. Роман говорит:

— Печень — штука серьезная, я в этом не разбираюсь.

— Ну, может, и не такая уж серьезная.

— Ничего не могу посоветовать, я слышал, что вот здесь, колющая боль, но это уже серьезно.

— А это еще что, вон тут, чешется, сыпь, не может быть как-то связано? Нет, пожалуй.

— Пожалуй, нет.

Роман сидит. Утро. Я говорю:

— Приму что-нибудь обезболивающее, иначе трудно встать, а мне сегодня и в Союз, и к Пшемеку...

Отпустило немного. Все, что надо, сделано. Я у Пшемека, отлично, пластинки крутятся, меня даже позабавила одна дамочка из усадьбы под Ловичем, она как раз прискакала, вся из себя такая. Было на что посмотреть, что послушать. Но Пшемеку это обошлось в несколько сотен злотых старого долга. И потом вдруг — боль. Ну конечно. Повредило. Опять двадцать пять.

— Но отчего, отчего? — советуюсь с Пшемеким. — Еда?

— Наверно, еда.

— А может, не еда, а таблетки, давай смотреть правде в глаза.

— Возможно. Больше пока не принимай.

— Да, пожалуй.

Возвращается Тереса. Дает что-то от печени. Мне лучше уже при одной мысли. К ним приходят знакомые. Я лежу — как мне



велели. Тереса с Пшемекком. Еще чего-то дали. Для усмирения печени. Гости — оба врачи. Он смотрит на мои глаза. Спрашивает у меня и у них, не желтые ли.

— нет

— при дневном свете не желтые, вы хорошо посмотрели?

— нет, не желтые

— а аппетит есть? может, тошнит? рвота была?

— нет, — я на это

— нет, — Тереса смеется. Я как раз ем, Тереса мне кашку сварила. Пальчики оближешь.

— Не исключено, что это желтуха. Инфекционная. Сейчас опять много случаев.

— опять?

— опять.

Я скисаю. Во сне. Потому что обезболивающие действовали. Они обсуждают кого-то другого, больного какого-то, нужно делать операцию или не нужно, он в больнице, ждет. Потом разговор по телефону: у матери Каси, той, что с Петрусем (мы здесь только что вместе встречали Новый год), инсульт.

Остаюсь у Тересы и Пшемекка. Засыпаю. Они идут (едут) домой. Я остаюсь здесь, в мастерской. В каком-то дурмане. Сплю. Утром болит, глотаю таблетку. Потом чай. В конце концов, ну сколько можно лежать, потому что болит? Встаю. Вроде полегче. Пять утра. Мир внизу. Застывший, белый (минус 25 градусов). Ставлю тихонько пластинку. Мне лучше. Сажусь. Ерзаю. Слушаю. Явно лучше. Приходит Пшемек. Все хорошо. Но когда звонит Тереса и спрашивает, как я, мне уже опять, черт возьми, больно. Они советуют к врачу. Я боюсь. Больницы. Машу рукой.

— Ни за что. Нет. Уже отпустило.

Но Тереса настаивает: надо вызвать. Пшемек тоже. На меня страх напал. Угрызения. Хочется убежать и от того и от другого.

— Я возвращаюсь домой.

— Погоди, сейчас Тереса...

Тереса говорит:

— Речи быть не может. Тебе до утра нельзя вставать. Прими обезболивающее.

Принимаю. Ну и меня развозит. Дремотно. Холодно. Где мой дом. Звонят насчет того бедолаги перед операцией и несчастной матери с инсультом. Мне стыдно. Тереса и Пшемек советуются с Вандой. У Ванды идея: врача из нашей поликлиники, она придет, если попросить. Это недалеко.

Венгерка Грация живет в том же подъезде девятью этажами ниже. Такое вот совпадение. Уже второй или третий день. Мы ей позволили. Она примчалась на лифте. Ей пришла в голову та же идея. Наша писательская врачиха добрая и милая. Попросить. Грация завтра там будет. Принесла мне кучу лекарств. Купила брошюрку про печень, дала меду. Мед не повредит.

ный курс гимназии. Здесь после войны он год работал сортировщиком писем на почте, потом — в разных газетах журналистом. И здесь он писал стихи. Первый сборник «Вращение предметов» вышел в 1956 г., и тут же критика признала его явлением замечательным, поражающим богатством и смелостью поэтического преобразования языка.

Желая приблизить русского читателя к пониманию той роли, какую сыграл в польской поэзии Мирон Бялошевский, быть может, стоит сослаться на поэзию Велимира Хлебникова, хотя это явления разного порядка. В период, когда творил Хлебников, в Польше не было поэта, который считал бы своей программой создание «заумного языка». Следы увлечения Хлебниковым можно найти в футуристическом эпизоде Александра Вата (1900-1967) или в «Слопневях» Юлиана Тувима (1894-1953), но в принципе в творчестве польского авангарда межвоенных лет победило направление, выдвинувшее лозунг рационального создания нового поэтического языка, опирающегося на отдаленную метафору и эллипсис (Тадеуш Пайпер, 1891-1969, Юлиан Пшибось, 1901-1970).

После II Мировой войны навязанные жесткие рамки так называемого социалистического реализма принесли нетерпимость к каким бы то ни было экспериментам в области поэтического языка. Даже модель крайнего языкового аскетизма, которую дал в своей поэзии Тадеуш Ружевич (р.1921), была в начале 50-х годов на грани приемлемого цен-



зурой. Бялошевский был ровесником Ружевича, но именно из-за того, что поэзия языкового эксперимента решительно выходила за обязательный канон того времени, он дебютировал позднее, чем многие его ровесники, — тогда, когда корсет соцреализма был в Польше сначала ослаблен, а затем и вообще отброшен. Дебют Бялошевского совпал с дебютом других выдающихся поэтов, которым тогдашний краткий период либерализации — как в области политики, так и в области искусства — позволил развернуть крылья. Возникло несколько новых поэтических течений, среди которых особенно важную роль играло течение языкового эксперимента, иногда определяемое как «лингвистическая поэзия». Именно здесь Мironу Бялошевскому вскоре предстояло сыграть ведущую роль

В культурных кругах Варшавы (правда, довольно элитарных) Бялошевского как оригинального художника знали еще до книжного дебюта — как одного из создателей вышеупомянутого театра на Тарчинской. В те годы это стало событием, на фоне которого поэтический дебют был уже только подтверждением того, что на небосклоне польской литературы появился художник невероятно оригинальный, открывший в фольклоре предместий богатство языка и нравов, и в то же время философски мыслящий знаток искусства и проницательный наблюдатель реалий обывденной жизни послевоенной Варшавы, встающей из развалин.

Однако вторая книга — «Капризуальное исчисление» (1959)

Ночью я опять один, сплю, просыпаюсь, пять, больно, быстро за чаем, двигаюсь, получше, пластинки. И только погода новый приступ. Боли. Я говорю Пшемеку:

— Ну все, это конец, одно за другим выходит из строя, теперь сплошные ограничения, с печенью худо, да и почки, кажется, барахлят.

Но все-таки воспрял и отправился принимать ванну. Тереса заметила сыпь.

— Пока все должно оставаться как есть, ничем не мажь, пускай доктор посмотрит.

— Может, это какой-то симптом...

— Возможно.

— А может быть, просто аллергия на эти ваши лекарства. От них, наверно, и боли, я не боюсь думать о самом худшем.

Гости приходят и уходят, Кис-Киска с Сольной и из Ниццы — все та же самая Кис-Киска, только попеременно, облик готический. Как потом выяснилось, ей не понравилась идея с больницей. Приятельница, жена того бедолаги, ждущего операции, в странном головном уборе.

— Это был шлем, — объяснила она мне месяца два спустя, когда я уже пришел в себя, потому что тогда я был не в себе, видел профили за столом, друг против друга, в беседе полушёпотом. Телефонные звонки. Грация привозит снизу мацу.

— Мацу можно.

Художник, говорил о стихах, своих, спешил на собрание. То ли день, то ли ночь. Я в тумане. Они все такие добрые, заботливые. Все вместе взятое — невероятно. И то, что меня здесь держат, мало того, не отпускают, ухаживают; вот я растроган, а сейчас больно, а сейчас зло берет, а сейчас грустно, что прежней жизни конец; теперешняя жизнь хуже? а может, обойдется, обычно все как-то утрясается, рано или поздно.

— В высшей степени состоявшаяся жизнь. — Это Людвик недавно так сказал мне про меня — уже уходя, с порога.

Ну да. Необыкновенная моя жизнь. Хорошая. Несмотря на сколько-то лютых зим, на голодные годы. Ну и смерть в завершение. Придет когда-нибудь.

Да. Конечно. Но перед этим что? Угасание — знакомое дело. По наблюдениям. Может, удастся с грехом пополам проскочить.

Но ведь и плохое меня не миновало. Сваливалось как снег на голову. Бомбы эти, омуты. Иногда и без паники не обходилось. Потом утешаешь себя, что это еще не самое плохое, продолжаешь хорохориться, хотя бы для виду. И вдруг на тебе. Зуб. Зуб. Один, второй. Выплюнут. С булкой и молоком. Как в дурном сне. Потом и башка эта. Макушка. Залысины. Потом не глядят в мою сторону, потом одна уступила мне место — оттого что молодая, наверное, а я был усталый, но тут же, спустя неделю, пацан — уступает место. Да, да, пацанчик. Но почему целых два раза?



На третий, кажется (я уже потерял счет), день на этом двенадцатом этаже приходят Тереса и Пшемек после встречи с Вандой. С новой музыкальной аппаратурой в коробках — каждая с двухэтажный дом.

Вандуся поставила диагноз: опоясывающий лишай.

Пшемек распаковывает аппаратуру, устанавливает, переставляет, подсоединяет и отсоединяет, включает. А она не включается. Ни в какую. Поднимают на ноги чехов. Это у них куплено. Инженер-чех пообещал в пять приехать. Одновременно ждем врачу. И одновременно поэта с женой. Поэт — меломан, они только раз виделись, теперь сговорились о новой встрече. Конечно же, все перепутали: то ли Пшемек с Тересой к ним, то ли они сюда. Но есть телефон. Разобрались. Приходит он. Маленький, с седой бородкой. С шестнадцатью квартетами Бетховена, с огромной поэмой. Это слушать, это читать, прямо сразу, вслух.

Мы боимся, что чех не найдет или вообще не придет. Врачиха, возможно, лучше чтоб и не приходила. Она приболела, как оказалось. Мигрень. Является инженер-чех. Налаживает. Является жена поэта. С колбасой. Следом Кис-Киска с выкройкой наимоднейших дамских брюк из Франции — и заодно послушать. Даже Миколай здесь, отпрыск. Грация приезжает на лифте. Поэт беззастенчиво развалился в кресле-качалке.

— Можно попросить рюмку водки?

Тереса приносит. Он ставит возле себя на высокий табурет. Потом еще одну. Потом пьют вместе. С инженером-чехом. Тереса спрашивает:

— Пшемек, у нас Дворжака нет?

Жена поэта шепчет мне:

— Хоть бы эта братская душа убралась поскорее.

Наконец — после первого квартета Бетховена — чтение. На час. Но с предупреждением, что именно столько.

Кис-Киска, Тереса и Миколай сидят за столом. Грация у меня на кровати — на бруствере, как мне доложили, то есть в ногах. В моем поле зрения (хоть я и закрыл глаза). А вне поля, за головами, жена поэта, на табуреточке.

— я следила, чтоб ты не спал, — услышал я потом.

— ну да?

— нет, нет, шучу.

Я сам за собой следил. После этих обезболивающих я дважды отключался. На секундочку. Грация сказала:

— Два раза у тебя чуточку, ну совсем чуть-чуть, открывался рот, я ведь следила, но ты тут же брал себя в руки и снова сосредотачивался.

Еще подошли, уже после поэмы, Збигнев и Малгожата, литературная пара. Они тоже здесь были на Новый год. Бетховен, один за другим. Поэт меня допрашивал:

— вы слушали?

— да.

— открыла совершенно новую фазу в творчестве поэта. Фазу более важную, длившуюся значительно дольше — собственно говоря, до конца жизни Бялошевского, умершего в 1983 году. «Капризуальное исчисление», как и ряд следующих его сборников, — это осуществление новой поэтики, резко поразившей многих энтузиастов «Вращения предметов». Если в первой книге царствовало богатство метафорических конструкций, то в позднейших Бялошевский становится поэтом, сознательно использующим бедный, увечный язык, полный разговорных оборотов и прямо невнятных форм высказывания. Он по существу творил собственный язык — интуитивно, как и Хлебников. В этом была и очень личная, осознанно неуклюжая попытка описать мир вещей будничных, повседневных, банальных, обрывки обыденных диалогов с ближайшим окружением, обыденное прозябание — сначала среди развалин сожженной Варшавы, потом в ее новых, наскоро построенных блочных муравейниках, где зоркий взгляд поэта выслеживает и выражает этим нестандартным языком контуры новых межчеловеческих отношений и нового типа социальных связей, а также различные проявления неофициального, приватного. Кто-то назвал его стихи «поэзией рухляди».

В 1970 г. Бялошевский дебютировал как прозаик. И вновь — поразительный дебют. «Дневник Варшавского восстания», сугубо личный, написанный языком крайне индивидуальным, пунктирным и как бы увечным, — это



единственный в своем роде документ. Сперва он вызвал протесты как попытка дегероизации восстания, ибо показывал его не с точки зрения шестнадцатилетних героев, бросавшихся с бутылками бензина под немецкие танки, а глазами гражданского населения, пытавшегося выжить в подвалах разрушенных домов и под сводами костелов. Но скоро «Дневник» был почти единогласно признан произведением, где лучше всего передана атмосфера неопишемого ужаса существования в руинах сражающегося города. Описание бесконечных часов в подвалах, блужданий из района в район, перехода по городской канализации, исхода после поражения восстания ни на миг не теряет черт живого и непосредственного повествования.

После «Дневника Варшавского восстания» Бялошевский опубликовал еще несколько книг прозы. Возникает впечатление, что работа над «Дневником» раскрыла в нем кладовые памяти, побудив как закрепить воспоминания юношеских лет, прожитых в старом варшавском доме, так и записывать текущую жизнь, встречи с людьми, разыгрывающиеся между ними сценки и произносимые диалоги. Об этом говорят сборники «Донесы действительности» (1973), «Шумы, склейки, полосы» (1976), «Распыл» (1980). Автобиографическая и репортажно-предметная основа прозы Бялошевского отчетлива и в книге «Инфаркт» (1977), где пребывание в больнице и санатории подано столь же нестандартно, как и варшавские и пригородные впечатления писателя.

— и как?

Я что-то говорил. Потом его жена:

— ну скажите что-нибудь, моему бородатенькому это очень важно.

Я говорю что-то.

— но...

и снова, потом он:

— но...

Я снова, смирный от обезболивающих, объяснял. А там и ночь настала.

На четвертый день явилась докторша, посмотрела на сыпь.

— Опоясывающий лишай.

Радость, аплодисменты. В честь докторши, мою и Вандину. Стало быть, можно. И есть всё, и пить, и вообще. Какое облегчение, какая радость. Какая ночь. Пластинки. Возбуждение. Еду в Гарволин. Подкормиться. К маме. Поколоться разными витаминами В. Вот именно.

После одного В (в поликлинике) выхожу — ноге больно. Скверно, думаю, но ничего, пройдет. Тут снег, тут отличное настроение, тут мороз, тут телевизор, тут райский уголок, тут мама кормит, и так по кругу. Чтение. Уютно. Тепленько. Одна гарволинская тетка даже сказала маме:

— Ишь ты, аж болезнь сынку придумала, чтоб его ублажить и чтобы у тебя побыл.

Это потому что не знала. Зато некоторые другие знали. Про опоясывающий лишай. На удивление много знали, при таком-то названии.

Прошло две с половиной недели. Пора возвращаться. А тут под утро мороз 28 градусов. А тут сугробы. А тут нога моя чего-то не того. Иду. Несу пакет. С едой. Больно. Ой, опять что-то разладилось. Ой.

Поезд как поезд. Но я еле вылез. Варшава — суший ад — толчея — колдобины — пара заходов в магазин. Доплелся. Как что? Полуколода-полупсих. Сибирский паралич. Лестница. Да, да. Дом. Бух. Хорошо, что Ле. был, что жив. Что после выступления мы отступились. Прямо зло берет. Я бы, коли на то пошло, особо не суетился, я бы толкал речи, приказывал, просил. Хотя чтобы уж настолько плохо — такого не бывает. Ну вот, опять дух какой-то. В меня вселился.

Дальше было хорошо. Но как ни выйдешь — хромается. Вот и предлог не выходить. Но надо. Магазин. Близко. Зато лестница — по одной ступеньке, и то в три погибели, кряхтя. И улица. Всякий раз по-новому, кошмар. Мороз — ухабы, нету мороза, грязь — скользко. Под ногами каша, и людей полно, и с неба пакость.

Но вдруг — прошло. Как рукой сняло.

Однажды утро. Опять снег. Пришел Богусь. Перебрал противогриппозных, поэкспериментировать решил, чтобы побыстрее прошло. Мне не до него. Он уходит.



— Извини, что я на минутку, — и рюкзак на плечо. Тулуп, на ногах какие-то чудные ботинки.

Я только подумал: «Как хорошо, что ничего не болит». А тут: тук-тук...

Прислушиваюсь: зубки. Пульсирует — случайно или что-нибудь предвещает?

Предвещает.

Я еще успел до вечера накатать семнадцать страниц лирики (платят построчно), если не сказать эпики. А тут уже и пластинка раздражает. Я в панику. Беру обезболивающее, снотворное. Надежда. Может, к утру пройдет. Утром первым делом: вроде это я и рядом (что-то закутанное?). Ага. Я и голова. Я и болит. Я и болит голова. Эй. Это же я, и голова болит от зуба, то есть это я с больным зубом. Сплю дальше. А что еще делать. Просыпаюсь — болит, или я знаю, что должно болеть. Засыпаю. Дотянуть до приемных часов зубного. Проспал. Я знал, что к вечеру силы иссякнут. Так и есть. А боль войдет в силу. Так и есть. Темно. Холодно. Больно. Который час? Встаю. Бегу. Близко, рукой подать. Семь, я уже сижу в неотложном кресле.

— Корень, больно, вырвать, что ли, иначе как? — говорю вежливо.

— Мы в это время уже не удаляем.

Прибежал на следующий день. Дело пошло споро. Хоть часть укола и мимо. И предупреждение (это моя зубная врачиха, та самая, у которой тик, но я ее люблю, она хорошая):

— Ну, будет немножко больно, вон как распухло, никуда не денешься... — и вот уже эти клещи, и я... Стоп.

— О...

Она:

— больно?

Я:

— а...

Она:

— всё.

Я:

— Ой, спасибо.

На следующий день — радость. С этим надо было покончить. Прямо из Отвоцка примчался к Тересе и Пшемек.

В состоянии эйфории.

Тереса не поняла, отчего, спросила.

А я ей:

— Потому что болеть перестало!

Бялошевский изумляет богатством наблюдений за обыденной жизнью своих «серых» героев и языковым новаторством в записях их разговоров, умеет внезапно блеснуть юмором, поразить неожиданностью ситуации. Посмертно изданный сборник стихотворений «Ого!» (1985) укрепляет в уверенности, что Бялошевский создал одну из оригинальнейших концепций современной «антипоэзии», то есть поэзии, которая пишется вопреки всяким традиционным правилам этого рода творчества и в то же время завораживает точностью определений, юмором и парадоксальными формулировками. Горстка не вошедших в «Ого!» поздних стихотворений поэта вместе с необычайно забавными записками в прозе о его последних путешествиях опубликована в посмертной книге «Обкартывая Европу. А А Америка. Последние стихи» (1988). За книгами стихов и прозы Бялошевского проступает чрезвычайно оригинальный образ автора, личность, которую отчасти может ощутить читатель его произведений, но которую невозможно охарактеризовать в рамках краткой заметки. Зная поэта, завсегда его театрика на Тарчинской, многочисленные друзья, бывавшие у него в гостях, могли бы своими рассказами и анекдотами о Бялошевском заполнить не один живой том воспоминаний.

Перевод К. Старосельской



Мирон Бялошевский

ДНЕВНИК ВАРШАВСКОГО ВОССТАНИЯ

Рис. Ю. Чапского



... Что оставалось делать? Мы начали ходить на прогулки. Со Свеном. Прогулка состояла в том, что мы рука об руку обходили по очереди все подвалы наших блоков. В конце нашего блока, блока «В», был туннель. Длинный. Бетонированный. Под двором проходил. Под этой самой картошкой и банками. И по этому туннелю мы иногда ходили на обход второй линии убежищ — под блоком «А». Точности ради надо заметить (потом дело коснется не только точности, но и самого выживания в этой топографии), что к нашему блоку «В» с боков прилегали еще два дополнительных блока, поменьше, которые, собственно говоря, составляли с нашим единое целое, с той лишь разницей, что при одном из них был свой собственный треугольный дворик. Вот так, значит,

мы и ходили. Прогулки были долгими. Потому что в каждом подвале было много народу. И в коридорах, и в коридорчиках. А еще по пути встречались маленькие подвалы. Без дверей. Открытые, только перегородки с боков. В одном из них были наши новые знакомые. Молодая пара. К ним мы ходили поболтать и послушать сверчка, поселившегося у них в стене. Вообще-то сверчков было много, но этот был самым громким. В одном из подвалов, что подальше, больших таких, мы отыскивали знакомого, Леонарда. Сидел, как всегда, на каких-то узлах, видно, не своих. Потому что был один. А может, на кирпичках сидел? Тощенький такой. В очках. С белым плащом. Точно. Жил Леонардик на Рыбаках. Кажется, в 23-м доме. Пятиэтажный дом, со стороны Рыбаков. Не с нашей стороны, а с той, что на откосе. Об этом доме, который пока еще стоял (а значит, или Леонард пришел сюда раньше — как в более безопасное место, ведь мы были из железобетона, — или я забегаю вперед в изложении фактов по меньшей мере на неделю), — об этом доме Леонарда я еще буду писать. Как и о двухэтажном доме, через который теперь проходит дорога, — сначала одна из двух через все Старе Място, а потом единственная до конца. Леонард наверняка не раз заходил к нам. Однако чаще я вспоминаю его в этом его подвале. Под сильным электрическим светом. А может это тогда свет казался таким сильным. Ведь столько было темноты. Под землей. На фоне красных стен. Там были страшные красные стены. Впрочем, точно такие же, как и у нас. Разве что у них, кажется, не было бетонных опор. Во время последних встреч Леонард выглядел очень грустным. Неуверенным. Куда податься, если его дома больше нет? Как и мы, он все раздумывал, не пойти ли на гору к Сакраменткам¹. Наконец он сказал нам, что пойдет. Возможно. При следующей прогулке мы его уже не застали на прежнем месте. Потом не было возможности встретиться. Лишь по окончании войны и по возвращении в Варшаву мы узнали, что он именно так и поступил: пошел к Сакраменткам, и там его засыпало вместе с остальными. Потом, году этак в 46-м, опять кто-то сказал, что да, действительно, у Сакраменток его засыпало, но что он отыскал выход к окошку, откопался и, кажется, выбрался оттуда. А после опять кто-то говорил, что все наверняка было не так. Тем более, что со времени восстания ни мы, ни кто-либо другой больше Леонарда не видел и даже не слышал о том, что он выжил.

В туннеле обустроивались люди, хотя здесь и было самое оживленное движение, а заодно сквозняки. Какая бы жара ни стояла на дворе, здесь в любое время дня и ночи гуляли сквозняки. В конце концов становилось холодно. Как-то раз, во время блужданий по подвалам, во время страшных бомбежек

¹ Костел в исторической части Варшавы Нове Място — Пер.



наших блоков, слепой и глупый инстинкт погнал нас к блоку «А». Через туннель, разумеется. Со всей семьей и со всем скарбом. А все потому, что недавно на одной из прогулок мы встретили мою далекую кузину — тетку Трочинскую, жену ядиного брата. Я бы ее вообще не узнал. Это она радостно ухватила меня за рукав. Во время оккупации она жила в блоке «А». То есть под собственным домом. А когда ей надоели ее первые убежища, она перебралась в туннель. Она была одна, и вещей всего нечего. Помню, жила она у самой двери блока «А». Все нас агитировала, чтобы мы туда переселились. Мы со Свеном быстро вернулись к своему семейному пункту, к нашему первому подвалу. И вот вечером, наверняка поздним, почти что ночью, вся семья, ведомая нами, скоренько перебралась в туннель, к стене, рядом с той же дверью, у которой была тетка Трочинская. Людей в туннеле тогда еще было мало. Только сквозняки, хлопанье дверью и — быстрое, еще быстрее — мельтешение с узлами и без узлов, потому что о неспешности во время восстания и говорить нечего. Кажется, в ту же самую ночь у стен рядом с нами расположилось много других людей. К утру туннель был заполнен. Мы просидели там не более полутора суток. А может и меньше. Не наплыв людей напугал нас, а сквозняки. Уже в первую ночь мы успели замерзнуть. Вторая ночь нас доконала. Выгнала. И это с самого начала. Прикрываться было особо нечем. Да и на что такая безумная роскошь, если на дворе стояло лето и все задыхались от зноя и пожаров? Опять я забегаю вперед. Так вот, в подвалах блока «А» мы познакомились с одним инженером. Позже, когда Свен возносил молитвы у нашего алтаря, мы вдвоем, в соавторстве, написали молитву. Вот, что осталось из нее в памяти:

*От бомб и самолетов — спаси нас, Господи
От танков и голиафов — спаси нас, Господи
От снарядов и гранат — спаси нас, Господи
От минометов — спаси нас, Господи
От пожаров и горения живьем — спаси нас, Господи
От расстрела — спаси нас, Господи
От завала — спаси нас, Господи...*

Молитва была довольно длинной. Как-то вечером мы прочитали ее. Вслух. Страх как взяла за душу. Начали ее читать и другие подвалы. Помню, написали мы текст одному инженеру. На следующий вечер встречает нас инженер и говорит: «А вы знаете, господа, что полторы тысячи человек в моем блоке читают сейчас вашу литанию?»

Тогда под одним адресом нас собралось по крайней мере три тысячи человек. Из них повстанцев 300-350. Впрочем, их численность росла. Как и гражданских, вроде нашего Леонарда, прибывавших из разбомбленных домов.

Чтение молитв Свеном шло не столько от набожности, сколько от актерства. Раньше молитвы читались несколько монотонно. Со Свеном сразу стало интересно. И более осмысленно. Кроме актерства, Свену было присуще чувство практичности, способность ощущать самые насущные потребности. Как-то

ВАРШАВСКИЕ АДРЕСА МИРОНА БЯЛОШЕВСКОГО



Дом на ул. Вильчей 23



Дом на ул. Тарчинской 11



Дом на пл. Домбровского 7.
Писатель жил на 4 этаже.



Дом на ул. Лизбонской — последний адрес М. Бялошевского

после одного из вечерних молений, кажется, в тот самый день, когда у выхода из нашего маленького убежища дошло до драки на топорах (впрочем, все обошлось), Свен обратился ко всем с алтаря:

— Господа, давайте поклянемся, что не будем ссориться.

— Клянемся... — покорно вторила толпа.

И помогло. По крайней мере на какое-то время. Потом Свен снова повторил это. И снова толпа покорно клялась. И снова на какое-то время помогло. Значит, слово не так уж пусто.

Вернемся теперь к событиям по порядку. К знакомой паре трамвайщиков. С ними связана дата 12 августа.

12 августа из наших подвалов — как это обычно бывало днем, когда люди уходили за водой или там едой, на какую-нибудь спасательную операцию, на баррикады, — так вот, из наших подвалов вышло несколько человек, а с ними и трамвайщик. Люди успели привыкнуть к разрывам снарядов, к бомбежкам со стороны Праги², с канонерки, что на Висле, с бронепоезда, стоявшего на путях Гданьского Вокзала. Обстрелы пока что были не такими частыми, как это стало позже. И, тем не менее, день 12 августа стал переломным. После обеда, когда не было слышно разрывов, Старе Место ухнуло несколько раз резким гулом и отозвалось взрывными волнами. Это было что-то абсолютно новое, как тайфун. Создавалось полное впечатление, что снесло верхние этажи на всей нижней Старувке³. Говорили, что посрывало все крыши. Каким-то неизвестным оружием. В то время люди хорошо различали все виды оружия. Полетели проверить. Вернулись с новостью про крыши. И про то, что с этой штукой дело дрянь, что это какие-то «фау». Возникла паника. Что это такое? Но паника была недолгой. Потому что вскоре повторилось то же самое. До сих пор ночи были спокойнее. Самолетов ночью не было, зато были внезапные артобстрелы и всякое другое. Танки, например. С этого времени, особенно по ночам, нас начало преследовать новое оружие — минометы. Все чаще и чаще, по несколько раз за ночь. Были и огнеметы. Но мы не знали, как они выглядят. Ни первые, ни вторые. Было только слышно сначала три или шесть скрипов-скрежетов, а потом сразу столько же взрывов со взрывными волнами. Про этот скрип говорили: «шкаф» заводят...

Тут же родился юмористический стишок про то, как заводят «шкаф»; мы его в газетке читали.

Минометы — метатели мин. Метатели — точное название, потому что взрывные волны метали стенами и нами.

Однако, вернемся к трамвайщице. Она прождала своего трамвайщика до вечера. Он не вернулся. Ночь она не спала. Плакала. Не вернулся он и к утру. Мы ее утешали, но после нескольких часов перестали. Потому что это стало ненужным. Сейчас я не могу поручиться, что было 12-е. Но, видимо, да. На следующий день было 13-е. Знаменитый день взрыва «голиафа» на ул. Длугой. Наверное, я все-таки прав. Еще до «голиафа», т.е. 13-го утром, а может и днем, трамвайщица обратилась к нам:

— Могли бы вы помочь мне искать его по госпиталям?

² Район Варшавы, расположенный на противоположном, восточном берегу Вислы — *Пер*.

³ Старувка — уменьшительное название Старого Места — *Пер*.



— Конечно!

И мы втроем — она, Свен и я — пошли в город.

А может, это все-таки было 14-е? Ведь 13-го было воскресенье, а кто из очевидцев когда-нибудь связывал взрыв «голиафа» с воскресеньем? Это, пожалуй, резон.

И ничего странного в том, что маленький отрезок времени казался большим. Тогда каждый день говорили:

— Идет двенадцатый день восстания...

— Идет тринадцатый день восстания...

Начинало казаться, что у нас за плечами долгие годы восстания (а что перед нами?), и что ничего другого нет и не будет, только восстание, которого больше нельзя было вынести. Сначала оно было невыносимо днем. Потом и ночью. Потом — каждые два часа. Потом — каждые пятнадцать минут. Да. Время считали непрерывно. Прислушивались к движению воздуха, ощупывали землю: дрожит, не дрожит? Куда они подевались? Где этот восточный фронт? Вроде, где-то за Вислой, но где? В Висьневце? В Пекелке? Слушали радио или того, кто слушал радио, как там, что на Западе. Там тоже (с июня) шел фронт. Освобождали французские города. Бельгийские. А что мы? Нам сбрасывали оружие. Несколько раз к нам прилетали. Сначала с Запада. Союзники. В тех самолетах в основном поляки. В основном или исключительно. Кто-то рассказывал, что однажды настоящая туча самолетов, летевших к нам из Англии или из Африки, наткнулась на фронт холодного воздуха над Альпами (наверное). У всех моторы замерзли, и все они там как один рухнули. Раз на наших глазах ночью упал самолет Южно-Африканского Союза. На Прагу. Еще один упал на Медовую. Там, где улица выходит на площадь Красинских. Прямо на баррикаду, на которой уже и так был трамвай. Летчиков достали. Этих как раз я видел — 13 августа, случайно. Оказалось, поляки. Тоже поляки. Разве что не с того самолета?

На Длугой, между въездом на улицу Килинского и Гарнизонным костелом — конечно, по той стороне, что ближе к Висле, — в подвалах были новые госпитали. Только что устроенные. Главным образом из-за «голиафа». Как мне сообщила знакомая учительница, которая была там 13 августа, в то воскресенье, под вечер, наверное, уже после захода солнца, из Свентоерской на улицу Фрета вырвали посланный немцами «голиаф». Маленькая такая самоходка. Скорее танк. О том, что его специально запустили, поначалу никто не догадывался. Казалось, что экипаж его бросил (а его просто подбросили). И что поляки его захватили. Тут же толпа начала ликовать. Сопровождать трофей. Шла рядом. С Фрета свернули на Длугую. И где-то в районе улицы Килинского, когда эйфория достигла апогея, а балконы были облеплены людьми, произошла катастрофа. Сработал часовой механизм. На балконах осталось много свесившихся с железных балконных перил. Больше всего трупов, фрагментов ног, рук, внутренностей, одежды оказалось на скверах. Моментально, до наступления ночи появились новые госпитали. У моей знакомой учительницы было двое братьев, активных участников восстания. Один, что постарше, погиб в бою. Второй, совсем мальчик, был на подхвате. Сновал туда-сюда. Так же было и в тот день. Моя знакомая и ее мать (беженки из района Воля), сидели в подвале, когда младший брат был на Длугой. Выскочила его сестра, эта моя знакомая. Искала. После взрыва. Потому что ей кто-то сказал, что меньшой был тут. И на этом скверике, тогда без травы, на голой земле нашла часть его ноги в ботиночке. Но были и такие, кто говорил, что этот ее братик жив и наверняка находится в новом госпитале. А когда она хотела войти туда, ее не пустили. Потому что как раз тогда шло обустройство. На следующий день их разбомбили. Ирена П., когда я встретил ее во время восстания, — кажется, там же, в Старом Мясте, — говорила (она тоже там оказалась), что внутренности сгребали лопатами.

Ну так вот, когда мы с трамвайщицей выскочили на Рыбаков, мы прежде всего проверили госпиталь на пересечении Рыбаков и Болести. В Пороховой Башне. Там на первом этаже был госпиталь. Трамвайщика там не оказалось. Нам сказали, что если ранен не военный, то скорее всего он где-нибудь на Длугой.

Рыбаки выглядели совсем иначе, чем вначале. То здесь, то там виднелись баррикады из земли, шпал, булыжника и панелей, с узенькими проходами около стен. Стены старой корчмы и две с отбитой штукатуркой, поклеванные пулями ворота из ракушечника. Дома начинали терять свои привычные измерения...

Перевод Ю. Чайникова



Гжегож Пшебинда

МЕСТО ДЛЯ ДРУГОГО

Михал Ягелло, автор почти 500-страничной монографии «Партнерство ради будущего. Очерки о восточной политике и национальных меньшинствах», изданной недавно Государственным научным издательством, вероятно, не согласился бы с тезисом А.И.Солженицына, что нация как общность формируется и обладает предназначением в надисторической сфере: «Несомненно, — пишет Солженицын в книге «Россия в обвале», — что отначальное существование племен — в Замысле Творца. В отличие от любых человеческих объединений и организаций — этнос, как и семья, как и личность — не человеком измышлен».

Между тем Михал Ягелло высказывается в пользу тезиса Эрнеста Геллнера¹, утверждающего, что «нации являются созданием человека, продуктом его убеждений, лояльности и солидарности». Таким образом, нация не является ни творением Создателя, ни даже природы, но существует исключительно в исторической сфере культуры — то есть обладает, как и каждое государство, модусом случайного, а не всеобщего и неизбежного существования.

Что же тогда приводит к возникновению новой нации, к тому, что конкретный индивидум принадлежит к той, а не иной национальной общности? Здесь на помощь снова приходит Геллнер: «Сообщество лиц — например, живущих на данной территории или говорящих на данном языке, — становится нацией тогда и только тогда, когда они глубоко убеждены в том, что в силу принадлежности к данному сообществу они обладают по отношению друг к другу определенными правами и определенными обязанностями. То,

что делает из них нацию — это взаимное признание их соотечественниками, а не какая-то иная общая черта, свойственная исключительно им и отличающая их от остальных людей».

Продолжая эту мысль, Ягелло утверждает, что сегодня национальная принадлежность — в отличие от гражданства, которое дается или отнимается государством на основании объективных правил, — определяется исключительно субъективным осознанием заинтересованной личности. Это осознание существует (сохраняется, изменяется, исчезает) только в человеческой психике, а проявляется на основе свободного волеизъявления заинтересованных лиц. Сегодня, однако, как можно догадываться, это волеизъявление должно совершаться в рамках уже существующих наций — Ягелло, например, не принимает требований группы жителей польской Силезии, которые добиваются признания силезской национальности. В данном случае, по мнению автора, мы имеем дело не с нацией, а с «региональной общностью».

Обе концепции происхождения и формы существования нации — как провозглашаемая Солженицыным, так и принадлежащая Геллнеру, точку зрения которого разделяет Ягелло, — имеют свои слабые стороны. Первая, романтическая концепция содержит в себе зерно детерминизма и провиденциальной неизбежности и нередко приводит к тому, что люди, добровольно меняющие национальную принадлежность, сталкиваются с обвинением в предательстве Родины Бога. Иногда она становится также прелюдией к национальному эгоизму, в котором понятие Бога подменяется понятием «такая-то Нация». Второй подход (условно назовем его «просвещенческим») часто критикуют за «номинализм» и «субъективизм» — нация в этой концепции представляет собой лишь некую форму «общественного договора»,

¹ Э.А.Геллнер (1925–1995) — английский философ и социальный антрополог чешского происхождения, в последние годы директор Центра по исследованиям национализма при Центральноевропейском Университете в Праге.



из которого к тому же можно добровольно и в любой момент выйти. Первый из рассматриваемых подходов восходит (иногда неосознанно) к ветхозаветной «мистике нации», во втором же слышатся отзвуки гражданских и либеральных концепций эпохи Просвещения. Однако ценность обеих конкурирующих концепций определяется вовсе не их теоретическим статусом, но этическим аспектом.

В другой своей работе, «Как нам обустроить Россию» (1990), Солженицын пишет: «Каждый, и самый малый, народ – есть неповторимая грань Божьего Замысла». Перелагая христианский завет, Владимир Соловьев написал: «Люби все другие народы, как свой собственный». В «просвещенческой» версии этой заповеди «любовь» заменяется «уважением», но этическое воздействие остается неизменным. Добавим, что как Эрнест Геллнер, последователем которого является Ягелло, так и Александр Солженицын решительно исключили из своего мировоззрения национальный эгоизм. По Геллеру, национализм грешит неуважением к личности, по Солженицыну – он противоречит принципам христианства.

Автор труда «Партнерство ради будущего» хорошо известен как в культурной, так и в политической жизни Польши. Издатель представляет Михала Ягелло как писателя и публициста, альпиниста и горноспасателя. В 1972–1974 гг. он был руководителем горноспасателей в польских Татрах, а в 1989–1997 гг. занимал пост министра культуры. Тогда он занимался сохранением и развитием культур национальных меньшинств на территории возродившейся независимой Польши. Он был членом Консультативного комитета Президентов Польши и Украины, а также Консультативного комитета Президентов Польши и Литвы. Из написанных им книг следует упомянуть такие, как «Призыв в горах. Несчастные случаи и спасательные операции в Татрах», «Тыгодник повешенный» и коммунизм (1945–1953)», «Ветка горной сосны. Старинные истории о несчастных случаях в Татрах в польской литературе». Он является также автором повести «Колодец» и нескольких сборников рассказов. В своей новой книге Ягелло

неоднократно делает оговорку, что не обладает достаточной компетентностью, чтобы писать о национальных меньшинствах, поскольку не является ни историком, ни социологом, ни юристом. Однако его положение «полониста, литератора и публициста, иногда отправляющегося в прошлое в поисках переплетенных корней настоящего» наделяет его достаточными для этого полномочиями.

Автор ищет аристотелевскую «золотую середину» между впадающим в автаркию национализмом и невосприимчивым к национальным вопросам космополитизмом: «Каждый народ склонен ставить себя на пьедестал, что обычно сочетается с критическим взглядом на другие народы, главным образом на своих соседей. Каждый народ, и даже каждая общность, создает стереотипы, которые, надо сказать, не были бы столь прочными, если бы не отвечали естественной потребности в безопасности индивидуума, соединенного со своими сородичами общностью обычаев, культуры и местом проживания. Разделение людей на «своих» и «чужих» уходит корнями в далекое прошлое человечества, но по-прежнему сохраняет свои защитные функции, окутывая личность и группы людей деликатным покровом почти родственной близости к «своим». Было бы ошибкой не замечать деликатности этого покрова и заменять один стереотип другим, в данном случае абстрактно понимаемым призывом полностью раскрываться навстречу «другим». Между наглухо запертой дверью и снесенным вместе со стенами избы забором существует, к счастью, множество промежуточных стадий. Разум требует здесь осторожности и сохранения чувства меры, как в процессе «раскрытия», так и «закрытия». Забота о себе и даже чувство гордости за национальную принадлежность не исключают уважения к другим и партнерского использования их достижений и наследия».

Кроме того, Ягелло глубоко убежден, что добросовестное изучение ситуации национальных меньшинств в Польше требует столь же объективного подхода к положению поляков в соседних странах. Требования, выдвигаемые данным меньшинством по адресу большинства,



должны рассматриваться с точки зрения двух критериев: с одной стороны, доминирующее большинство обязано сохранять культурную самобытность меньшинств, но, с другой стороны, должно также заботиться о территориальной целостности государства и его безопасности. Добавим, что этот последний аспект представляет собой проблему главным образом в многонациональных государствах, таких как Российская Федерация, которая по своей структуре асимметрична. Дело в том, что она состоит из субъектов, возникших как на национальной (автономные республики и округа), так и на территориальной (края, области, города федерального значения) основе. Кроме того, как было подсчитано, по крайней мере 20% регионального законодательства находится в противоречии с Конституцией РФ и общегосударственным законодательством. Солженицын утверждает, что государство, в котором пути национального и государственного патриотизма разошлись, обречено на развал. В России национальный патриотизм – например, чувашей и чукчей – представляет собой необходимую основу для общероссийского (государственного) патриотизма, но одновременно ограничивается этим последним. С точки зрения юридических установлений это должно означать, что, скажем, Конституция Татарстана ни в каком пункте не должна идти вразрез с общими интересами Федерации. Писатель отвергает лозунг «Россия для русских», считая его столь же разрушительным для российской государственности, как лозунги типа «Татарстан для татар» или «Якутия для якутов».

Очевидно, что Польша с подобными проблемами не сталкивается, если не считать излишне раздутого вопроса о положении немецкого меньшинства в Опольском воеводстве. Однако Ягелло пишет и о проблемах с поляками на территории Литвы. Он полемизирует с мнением, что следует поддерживать все их действия. Как можно признать справедливыми требования поляков в Виленском крае, призывающими вернуться к «советской Литве»? Ведь это явная угроза для территориальной целостности и независимости Литвы... С другой стороны, автор предосте-

регает литовское большинство – и тут находит себе применение исповедуемая им геллнеровская концепция нации – перед пренебрежением национальным самосознанием тех граждан своего государства, которые чувствуют себя поляками... Даже если это «полонизированные литовские крестьяне». Мнение, что следует «вернуть это население к его литовским корням», Ягелло считает ошибочным. Он видит в нем литовский страх перед «польским началом» и сожаление, что «эти крестьяне выбрали польское начало, хотя могли стать осознающими свое национальное чувство литовцами». Неважно, говорит Ягелло, что эти литовские «поляки» вовсе не пришли в Литву, как они сами утверждают, несколько веков назад из-за Вислы... Неважно и то, что их фамилии носят в себе следы давних литовских корней... Главное в этом сложнейшем вопросе – помимо его исторического и языковедческого аспекта – то, кем они сами себя считают. «Нет иного способа, – пишет Ягелло, – кроме уважения воли другого человека. Решающее слово на национальном и языковом пограничье остается за отдельной личностью». И пусть никто не называет этого мнения, высказанного Ягелло, «польской точкой зрения», ибо оно является всего лишь результатом применения общего закона к конкретному польско-литовскому случаю. В другом месте это выглядит так: «Вовсе не так легко точно описать коренного поляка. После стольких веков подтвержденного документами исторического прошлого, после стольких миграций людей во всех направлениях, после столь ошутимого перемещения границ, я тот, кем себя считаю. Независимо от звучания родовой фамилии и места постоянного проживания. Если многие жители Опольского воеводства на вопрос: «Кто ты?» – не отвечают ласкающей слух поэтической цитатой: «Я из поляков», а на чистейшем польском языке заявляют о своей принадлежности к немецкому народу, то нам не остается ничего другого, как с уважением отнестись к этому выбору».

Говоря о меньшинствах в Польше, Ягелло имеет в виду прежде всего коренные национальные группы, то есть те, которые проживают на землях Речи Посполитой на



протяжении многих столетий и при этом причисляют себя к иной, нежели польская, национальности. Это белорусы, украинцы, литовцы, чехи, словаки, немцы. Уже много веков живут на территории Польши цыгане и евреи. Следует упомянуть и считающих себя поляками, но помнящих о своих предках караймов, армян, татар, а также потомков русских старообрядцев, до сегодняшнего дня исповедующих веру своих отцов. Ягелло не забывает и потомков русских эмигрантов, семьи которых попали в Польшу после 1917 года, о греках и македонцах, нашедших в Польше политическое убежище менее полувека тому назад.

В особом положении находятся в Польше лемки, часть которых считает себя этнической группой украинского народа, а часть — отдельной нацией, что встречается, как правило, с резким отпором со стороны проживающих в Польше лемков-украинцев. В очерке «Лемки» Ягелло напоминает о новейших исторических судьбах этого греко-католического населения, проживающего по обе стороны Карпат. После второй мировой войны Закарпатская Русь вместе с Ужгородом была включена в состав СССР в качестве Закарпатской области, иногда называемой также Закарпатской Украиной — здесь от лемков сегодня уже и следа не осталось. Прешув и его окрестности остались в Чехословакии, где лемки подверглись процессу словакизации. В составе Польши осталась Северная Лемковщина, а судьба лемков в ПНР в 1945–1947 гг. до сих пор считается самой страшной катастрофой в истории этого народа. Сначала в рамках так называемого «добровольного обмена населением» между СССР и ПНР (поляки из СССР и с Украины отправлялись в Польшу, а украинцы — в том числе лемки — из Польши в СССР) было вышвырнуто за реку Сан около 75 тысяч человек, которых сочли украинцами. Затем, в период с апреля по июль 1947 г., в ходе позорной операции «Висла» на запад Польши было выселено около 35 тысяч лемков. Многих из них обстоятельства вынудили отказаться от греко-католического вероисповедания и перейти либо в православие, либо в римско-католическую веру. Греко-католи-

ческие церковки на Северной Лемковщине превратились в руины или же перешли в собственность римско-католической церкви. Ситуация изменилась лишь после 1956 года, когда часть лемков вернулась в свои деревни. Другая часть укоренилась на польских западных землях, культивируя там традиции предков. В 1990 г. Сенат Республики Польша осудил операцию «Висла», в результате которой 150 тысяч украинцев и лемков, в основном греко-католиков, были насильно переселены из юго-восточной Польши в северо-западные регионы.

В последние годы культура лемков в Польше переживает период интенсивного возрождения, но лемки по-прежнему расколоты. В этом единственном случае Михал Ягелло готов сузить сферу действия принципа «я тот, кем себя считаю»; по нескольким причинам он опасается признать лемков отдельным народом. Что скажут на это украинцы? Что будет, если «лемковский народ» пожелает создать новое государство? И все же окончательное заключение автора таково: «Если тысячи людей считают себя отдельным народом, то даже если они объективно не правы, а мировое сообщество не поддерживает их устремлений, все равно стоит относиться к ним как к партнерам».

Однако с политической точки зрения важнее отношение поляков к украинскому, белорусскому и литовскому меньшинствам. Здесь Ягелло справедливо считает себя последователем и учеником Ежи Гедройца и эмигрантского круга, группировавшегося вокруг парижского ежемесячника «Культура», который сразу же после второй мировой войны начал партнерский диалог с литовцами, белорусами и украинцами. «Культура» вызвала тогда в эмигрантской среде подлинную бурю, признав, что Вильнюс и Львов потеряны для Польши навсегда. Годы спустя Гедройц скажет: «Крупная, долгосрочная политика невозможна без жертв. Поэтому наша редколлегия сразу, еще в 1949 году, решила, что Вильнюс и Львов навсегда потеряны для Польши. Если мы хотим нормализовать наши отношения с Литвой и Украиной, то от этих земель мы должны отказаться. Мы должны отказаться и от требований их возврата даже после того, как



ситуация изменится». В 1952 году Юзеф Лободовский в статье «Против призраков прошлого» призывал поляков понять, что украинцы являются отдельным народом с правом на самоопределение, а украинцев убеждал более беспристрастно взглянуть на их роль в истории бывшей Речи Посполитой, а также в межвоенный период (1918–1939). В заключение Лободовский писал: «Неужели мы будем бесконечно препираться, кто первый начал, кто более виноват, кто пролил больше крови? Может быть, лучше попытаться побороться за иное первенство – за первенство протянутой руки?»

Однако самое сильное впечатление производит сегодня приводимый Ягелло фрагмент пророческого заявления редколлегии «Культуры», напечатанного в 1953 году под заголовком «Недоразумение или дешевый патриотизм»: «Мы утверждаем, что участвовать в будущем европейском федеративном союзе имеют право не только народы, обладавшие независимыми государствами в 1939 году, но также украинцы и белорусы».

В книге «Партнерство ради будущего» Ягелло последовательно разоблачает польскую (а также украинскую, литовскую, белорусскую, немецкую, чешскую) окраинную ментальность, которую он называет «национальной мегаломанией» и «гипертрофированной формой патриотизма». Дело в том, что «окраины» всегда находятся на границах государства, и потому населены местными коренными жителями и прибывшими из центра пионерами-цивилизаторами. Часто местное население – особенно если пионеры прибывают из центра, привлекательного в культурном отношении, – перенимает язык и обычаи пришельцев, а иногда – вполне осознанно – их национальность. Бывает и так, что пришельцы превращаются в «местных». Никто не сумеет подсчитать, сколько поляков в свое время решило стать литовцами, украинцами, немцами... Жизнь на окраинах могла бы стать, как пишет Ягелло, школой сосуществования народов, культур и религий. Но не стала... «Нужно обладать немалой доброй волей и жизненной мудростью, чтобы, пребывая на посту на окраине государства, сочетать свой

патриотизм с уважением к людям, среди которых тебе выпало жить, и к их культуре. Это нелегко. Гораздо легче дается национальная мегаломания, иногда приобретающая злокачественную форму шовинизма или агрессивного национализма. Ею заболели – и продолжают болеть – не только потомки пионеров, но и те, кто лишь недавно примкнул к данному народу. Окраинная ментальность бывает заразительной».

Во вступлении к своему труду автор говорит о мировых и европейских правовых актах в сфере охраны прав национальных меньшинств и напоминает, что Польша после 1989 года неоднократно подтверждала свое твердое намерение их соблюдать. Меньшинства в РП могут свободно объединяться в силу польского закона об объединениях, имеют право на школы с преподаванием на родном языке. Польская римско-католическая Церковь обеспечивает своей пастве из числа национальных меньшинств возможность отправления культа на своем языке (литовском, немецком, словацком и даже цыганском). Всей полнотой религиозных и гражданских прав пользуются сегодня украинские греко-католики, белорусские православные, немецкие протестанты, татарские мусульмане, исповедующие иудаизм евреи.

* * *

Ягелло с одобрением пишет о выступлении президента Леха Валенсы в израильском Кнессете, которое в значительной степени улучшило польско-еврейские отношения, высоко оценивает поведение президента в ходе официальных визитов на Украине, в Белоруссии и Литве. Он полемизирует с теми, кому не нравится забота польского государства о национальных меньшинствах, возражает против мнения, что действия, направленные на достижение согласия и примирения с ними, в недостаточной мере учитывают польские государственные интересы. Он также призывает католическую Церковь пересмотреть понятие «патриотизма»: «Роль католической Церкви в этом процессе трудно переоценить. Без помощи Церкви нелегко будет привить миллионам



соотечественников убеждение, что патриотизм в его современном понимании включает в себя уважение к другим и исключает национализм, ксенофобию, шовинизм. Наша история сложилась таким образом, что польская Церковь была вынуждена особенно бдительно стоять на страже единства поляков; поэтому она выступала за постоянство и единство, с подозрением относясь к изменениям и множественности. Быть может, благодаря этому мы по-прежнему существуем как поляки. (...) И все же настало, наконец, время, чтобы наша Церковь осознала: не каждое изменение подрывает устои того, что должно быть прочным, и не всегда множественность не уживается с единством. (...) Здесь полезным может оказаться устоявшееся убеждение, что в огромном большинстве мы являемся членами всеобщей, вселенской Церкви, то есть исповедуем не какую-то дикийнскую форму христианства, названную кем-то и когда-то «полонизмом», но католицизм, первым епископом которого является сегодня священник родом из Польши, а не «польский папа».

Михал Ягелло ссылается на слова примирения, обращенные Иоанном Павлом II к украинцам, литовцам, немцам и белорусам, которые он произнес в 1991 году во время четвертого паломничества в Польшу. Автор утверждает, что эти слова еще принесут когда-нибудь желанные плоды – при условии, что будут услышаны и проникнут в польское кровообращение. С этим следует согласиться, тем более, что Иоанн Павел II при всем своем экуменизме и национальной терпимости не перестает быть вполне «польским». Неслучайно он столь часто ссылается на известное высказывание короля Зигмунта²: «Вашей совести я не король», – произнесенное в эпоху, когда господствовал принцип: «Cuius regio, eius religio»³. Среди других «польских героев» папы Иоанна Павла II следует перечислить также отца

религиозной терпимости Павла Влодковица⁴, королеву Ядвигу Анжуйскую⁵, покровительницу сближения между Востоком и Западом, а также Циприана Камила Норвида⁶, который писал, что «народ состоит не только из духа, который разнится с другими, но и из того, что объединяет».

В 1979 году, во время своего первого паломничества в Польшу, в исторической проповеди на Холме Леха в Гнезно папа Иоанн Павел II представил дальновидную, но укорененную в истории концепцию христианской Европы, дышащей «двумя легкими» – восточным и западным. Он объяснил своим не всегда всё схватывающим на лету соотечественникам, а также еще более изумленным, быть может, гражданам Западного мира, что в семью европейских народов следует включить – помимо поляков, чехов, словаков, румын, болгар, сербов, хорватов, венгров – еще и русских, украинцев и белорусов. Причем как полноправных членов – ведь Россия, Украина и Белоруссия стали неотъемлемой частью Европы тысячелетие назад, приняв крещение из рук одного из тогдашних центров европейской культуры – Нового Рима, то есть Византии. Напоминая об этом эпохальном событии, Иоанн Павел II взывал к экуменическому сознанию восточных и западных христиан, одновременно подчеркивая, что сам он – недавно избранный «папа-поляк», «папа-славянин» – стремится внести свою лепту в «выявление духовного единства христианской Европы».

Стоит также вспомнить проповедь Иоанна Павла II, произнесенную во время его первого паломничества в Польшу (июнь 1979 г.) в лагере уничтожения Аушвиц-Биркенау. Обрисовав «победный аспект мученичества о. Максими-

² Зигмунт II Август (1520–1572), польский король – формально с 1529, фактически – с 1548 г.

³ «Чья власть, того и религия» (лат.) – принцип, принятый при заключении Аугсбургского религиозного мира (1555).

⁴ Павел Влодковиц из Брудзеня (ок.1370–1435) – ученый, правовед, ректор Краковской Академии. Осудил обращение в веру с помощью меча, утверждал, что язычники имеют право свободно жить на своей земле.

⁵ Ядвига Анжуйская (1374–1399) – польская королева с 1384 г.

⁶ Ц.К.Норвид (1821–1883) – великий польский поэт.



лиана Кольбе⁷», Иоанн Павел II склонил голову перед мемориальными досками, увековечивающими мученичество в освенцимском лагере смерти представителей трех народов – евреев, поляков и русских: «Еще одна доска, выбранная нами... Доска с надписью на русском языке. Я воздержусь от комментариев. Мы знаем, о каком народе говорится в этой надписи. Мы знаем, каково было участие этого народа в последней страшной войне за свободу людей и народов. Мимо этой доски мы не имеем права пройти безразлично».

* * *

В книге Михала Ягелло мы находим обширные очерки о белорусах, украинцах, литовцах, словаках, моравянах и чехах в Польше, о поляках в Заолзье. Сильное впечатление оставляет рецензия на монографию «Книга памяти. Цыгане в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау», которая повествует о Катастрофе, остающейся в тени – о геноциде цыганского народа. Автор, который как государственный чиновник много путешествовал, был всегда прекрасно подготовлен к этим поездкам в том, что касалось сути дела. Он ознакомился с историей данной территории, изучал труды, посвященные здешнему польскому меньшинству. В своей деятельности политика Михал Ягелло неизменно оставался гуманистом и интеллектуалом. Один из наиболее интересных очерков, вошедших в книгу «Партнерство ради будущего», носит название «Польский сон» и повествует о польских колонистах в Турции, которые в 1842 году основали на азиатском берегу Босфора польскую деревню Адамполь. Первыми поселенцами здесь были участники восстания 1830–1831 гг., которые попали в русский плен, а затем были отправлены в штрафные батальоны на Кавказ. Здесь они вновь становились пленниками черкесов, которые продавали их в рабство курдам. Тех,

⁷ Св. Максимилиан М. Кольбе (1894–1941) – францисканский священник, основатель религиозного центра Непокаланув (1927), дважды (в 1939 и 1941) арестовывался гитлеровцами за помощь польскому подполью. В концентрационном лагере Аушвиц (Освенцим) добровольно занял место приговоренного к смерти заключенного Ф.Гайовничека и мученически погиб. Канонизирован в 1982 г.

кто выдерживал тяжелый подневольный труд в течение пяти лет, освобождали. Иногда пленников выкупало из рук курдов братство св. Лазаря, занимающееся опекой над прокаженными. Среди польской эмиграции в Париже, группирующейся вокруг князя Адама Чарторьского⁸, возник замысел создания в Турции польского плацдарма борьбы за независимость от России. Из этих планов в конце концов ничего не вышло, но возникло существующее по сей день польское поселение, жители которого сначала занимались земледелием и животноводством, а затем начали жить за счет туризма. Сохраняя свой польский характер, поселение успешно развивалось – живущие в Адамполе поляки были более зажиточными, чем соседствующие с ними турки и греки. С конца XIX века поселение приобрело новое название – Полонецкёй. В 1918 г. турецкое правительство начало бороться с польским характером поселения, перестало признавать польское гражданство его жителей, а в 1939 г. ликвидировало польскую школу. Ягелло пишет: «Не будем осуждать турок слишком сурово; отношения почти каждого большинства с резко выделяющимся на господствующем фоне меньшинством всегда отягощены преувеличенными опасениями, основывающимися на страхе перед разрушительным влиянием «чужаков». Мы также не свободны от подобных предрассудков. Лучше будем помнить о хорошем. А хорошим был уже сам факт согласия на возникновение польской деревни – Адамполя». Польский характер деревни сохранился вплоть до наших дней; летом 1994 года здесь гостил президент РП Лех Валенса.

Труд Михала Ягелло не только имеет огромную познавательную ценность, но и возбуждает доверие своей этической и мировоззренческой позицией. А все потому, что он базируется, как пишет во вступлении сам автор, «на таком восприятии польского начала и польских государственных интересов, в котором есть место для Другого».

⁸ Кн. Адам Ежи Чарторьский (1770–1861) – во время Польского восстания 1830–1831 гг. был главой Национального правительства. Резиденция Чарторьского в Париже («Отель Ламбер») была центром консервативной эмиграции.



Янина Куманецкая

ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

★ В клинике в Мезон-Лаффите под Парижем скончался Ежи Гедройц, редактор парижской «Культуры» — польского эмигрантского журнала, который на протяжении многих лет «пробуждал поляков от апатии, освобождал их от страха, посылал из эмиграции слова правды и свободы», — написал в «Газете wyborczej» ее главный редактор Адам Михник. «Новая Польша» писала о Ежи Гедройце уже немало. Здесь нам хотелось бы лишь подчеркнуть, что, по его мнению, один из самых важных для поляков вопросов — это взаимопонимание с их восточными соседями. За такое взаимопонимание он неизменно ратовал. Хотелось бы также привести его слова: «Я сознаю, что вместе с моим уходом из этого мира, исчезнет и «Культура». Я с этим смирился. Я не воспитал себе наследников, поскольку не сумел бы этого сделать. Надеюсь, однако, что своей родине, Польше, я принес какую-то пользу». Действительно, октябрьский номер «Культуры», по всей вероятности, станет последним. Тем временем в Национальной библиотеке в рамках цикла «Наши соседи — новый взгляд» открылась выставка «Украина — Польша: в сторону диалога», костяк которой составил журнальный труд Ежи Гедройца.

★ В этом году главная польская литературная премия «Нике» была присуждена Тадеушу Ружевицу за книгу «Мать уходит» — необыкновенную элегию на смерть матери, состоящую из текстов самого поэта, воспоминаний его брата Станислава и фрагментов дневника матери. В Ружевице, крупнейшем трагическом поэте нашего времени, многие видели и по сей день видят польского кандидата на Нобелевскую премию.

★ Президент Литвы Валдас Адамкус собрал в Вильнюсе трех нобелевских лауреатов: краковянку Виславу Шимборскую, вильнюсца Чеслава Милоша и уроженца Гданьска Гюнтера Грасса. Вместе с живущим в Америке литовским поэтом Томасом Венцловой они приняли участие во встрече, посвященной общей памяти литовцев, немцев и поляков, а также литературе Восточной и Западной Европы. Встреча была организована немецким Институтом культуры им. Гёте. Приведем фрагмент выступления Чеслава Милоша: «В нашей части Европы жизнь многих людей измени-

лась вследствие массовых перемещений населения, имевших место в конце войны. (...) Достаточно чуточки воображения и сострадания, чтобы оценить исключительность и трагизм этих принудительных скитаний в масштабах, которые, насколько хватает человеческой памяти, были прежде неизвестны. (...) Как наблюдатель польской литературы я заметил — и в поэзии, и в прозе, — насколько устойчива травма изгнания из родных мест. (...) В то же время существует явление, едва ли поддающееся теоретическому охвату, сложное и эмоционально запутанное. Это попытка отыскать собственные корни на новом месте путем мысленного контакта с людьми прошлого, которые некогда ходили по тем же улицам. (...) Прошлое (...) то прошлое, которое на каждом шагу напоминает о себе камнями Гданьска или Вильнюса, требует нашей сочувственной помощи, т.е. правдивости, когда мы думаем и пишем о том, что было».

★ Литературная премия Фонда Костельских присуждена Михалу Павлу Марковскому за критиколитературное эссе «Анатомия любопытства» и Войцеху Венцелю за сборник стихов «Ода больной душе». Премия, предназначенная для авторов моложе 40 лет, присуждается с 1962 года.

★ Свои премии в области современной прозы присудило также краковское издательство «Знак». В этом году первая премия не была присуждена. Лауреатами второй премии стали Юрек Зелёнка за роман «Тадзик» и Рышард Садай за «Скамейку под каштаном». Третью премию получил Томаш Юраш за «Карету». Председатель жюри Ян Блонский считает, что «Тадзик» Юрека Зелёнки — «это, быть может, «Пан Тадеуш» времен ПНР, написанный способным учеником Мрожежа».

★ Ежегодная осенняя Всепольская книжная ярмарка в Варшаве завершилась умеренным успехом, еще раз обратив внимание на то, что сейчас в Польше издается слишком много книг, издательства слишком бедны, а участие в ярмарке зачастую слишком дорого. Как обычно, не подвела лишь публика. Главным литературным событием ярмарки стал выход нового сборника стихов Чеслава Милоша «Это».



★ Лидером списка бестселлеров продолжает оставаться бразилец Паулу Селу. В категории польской художественной литературы «Низкие луга» Петра Семена на сей раз оказались впереди книг Иоанны Хмелевской. В литературе факта на первом месте — произведения недавно умерших о. Юзефа Тишнера и Густава Херлинга-Грудзинского. Из живых писателей наибольший интерес возбудил Станислав Лем своим сборником фельетонов «Мгновение ока».

★ У изданной в 1947 г. и недавно переизданной книги Станислава Рембека «Приговор Франтишеку Клосу» в ближайшем будущем есть все шансы стать бестселлером. Впрочем, такие шансы есть и у других книг этого автора, признанного одним из самых выдающихся польских прозаиков XX века. Его творчество надолго было предано забвению — вероятно, из-за того, что лучшие его романы («В поле», «Наган») были посвящены польско-советской войне, в которой он сам принимал участие.

★ Одновременно с выходом книги состоялась премьера телефильма «Приговор Франтишеку Клосу», снятого Анджеем Вайдой.

★ Торжественным просмотром новой версии «Земли обетованной» Анджея Вайды открылся 25-й Фестиваль польских художественных фильмов в Гдыне. На фестивале было показано 28 фильмов, снятых в минувшем году. «Золотых львов» (главную премию фестиваля) жюри под председательством Юлиуша Махульского присудило Кшиштофу Занусси за фильм «Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем», а приз за лучшую мужскую роль — играющему в этом фильме Збигневу Запасевичу. Остальные премии достались молодым кинематографистам. Специальную премию жюри получили Томаш Коцецкий, Анджей Сарамонович и Томаш Мадейский за фильм «Полушутя», премию за лучшую режиссуру — Анджей Чарнецкий («Существо»), а за лучший режиссерский дебют — Лукаш Барчик («Я смотрю на тебя, Марыся»). Публика признала лучшим фильмом фестиваля «Желтый шарф» Януша Моргенштерна с замечательной ролью Януша Гайоса.

★ В возрасте 75 лет скончался Войцех Хас — один из самых выдающихся польских режиссеров, известный и признанный во всем мире. Такими фильмами, как «Петля» по Мареку Хласко, «Как быть любимой» по Казимежу Брандысу, «Рукопись, найденная в Сарагосе» по Яну Потоцкому, «Санаторий под клепсидрой» по Бруно Шульцу, Хас навсегда вошел в историю визионерского кино, создав

мир людей, проигравших в борьбе с миром. «Герои Хаса, — написал после его смерти критик Тадеуш Соболевский, — это по сути дела художники. Огромное значение в их жизни приобретает жест, который они противопоставляют неумолимой необходимости. В этом жесте, которым они защищаются от сознания поражения, распада, смерти, есть нечто героическое и трогательное. (...) Хас создавал на экране свой мир, несмотря на то, что все его фильмы были экранизациями чужих литературных произведений».

★ Завершился 16-й Варшавский международный кинофестиваль: в четырех кинотеатрах было показано 80 полнометражных фильмов из 32 стран. Специальным гостем нынешнего фестиваля был грузинский режиссер Отар Иоселиани.

★ Замечательный актер и режиссер Ежи Стур (постановщик «Любковых историй» и «Большого зверя») закончил съемки российского фильма «Down House» по мотивам «Идиота» Достоевского, в котором он сыграл роль генерала Иволгина. На встрече в Польском институте в Москве Стур сказал: «С самого начала главным для меня был сам Достоевский. Он сопровождал всей моей жизни, и все, что я узнал о человеке из литературы, я узнал именно от Достоевского».

★ Известный театральный режиссер молодого поколения Гжегож Яжина намерен снять фильм по мотивам «Порнографии» Витольда Гомбровича. Продюсерами фильма будут польская и французская телекомпания «Канал плюс».

★ В конце сентября — начале октября в Варшаве были показаны лучшие спектакли минувшего сезона, в т.ч. «Ивонна, принцесса Бургундии» Витольда Гомбровича в постановке Гжегожа Яжины, «Лунатики» по Герману Броху в постановке Кристиана Лупы и спектакль вроцлавского Театра пантомимы «Трагические игры» в постановке Хенрика Томашевского. На 27-е Варшавские театральные встречи были приглашены также театры из-за границы. В этом году варшавяне смогли посмотреть «Макбета» из Вильнюса, «Ткачей» Гауптмана из Берлина и «Укрощение строптивой» из Москвы.

★ Адам Ханушкевич вновь напомнил зрителям о своих прежних театральных успехах, которых он достиг прежде всего благодаря инсценировкам, поставленным некогда в Театре телевидения. Его последняя премьера «Телесмотрило мое» формально основана на «Хрониках» Болеслава Пруса и в то же время подытоживает все прежние творческие поиски режиссера.



★ В отремонтированном зале Национальной филармонии в Варшаве начался XIV Международный Шопеновский конкурс, который продлится две недели. О его результатах мы напишем в следующем номере, а пока приведем лишь несколько цифр. В этом году желание участвовать в конкурсе изъявили 250 человек. Допущены 98 участников из 25 стран. Польшу будут представлять 12 пианистов. Самому молодому участнику конкурса 17 лет, самому старшему — 28. В состав жюри под председательством проф. Анджея Ясинского входит 23 человека. Участники будут играть на специально закупленных роялях фирмы «Стейнвей».

★ Варшавский камерный оперный театр организует широкомасштабное празднование 400-летия оперы как сценического жанра. Программа весьма необычна. После открытия празднования премьерой «Эвридики» итальянского композитора конца XVI — начала XVII вв. Якопо Пери на сцене театра пройдут IV Фестиваль опер Монтеверди, VIII Фестиваль барочной оперы, I Фестиваль Россини, IV Фестиваль старопольской оперы, XI Моцартовский фестиваль и I Фестиваль современной польской оперы. К этому следует добавить около 70 гастрольных спектаклей за границей.

★ На пяти компакт-дисках записаны песни (общим числом 141) из необычайно популярного в свое время телевизионного «Кабаре пожилых господ» Ежи Васовского и Иеремии Пшиборы. Этот альбом — первое в Польше полное издание записей «Кабаре».

★ В Варшаве завершился 43-й фестиваль современной музыки «Варшавская осень», проходящий с 1956 года. Тогда фестиваль стал реакцией на продолжительную изоляцию польского музыкального мира от новейших европейских течений. В этом году на сценах и эстрадах царили мультимедийные постановки, пользовавшиеся переменным успехом. Самым выдающимся музыкальным выступлением критика признала исполнение «Группы» Штокхаузена, одного из создателей европейского авангарда. Сочинение игралось в Польше впервые, спустя 42 года после первого исполнения. В заключение фестиваля была исполнена симфоническая поэма Скрябина «Прометей».

★ «Варшавской осени» сопутствовало множество культурных событий. Галерея «Захента» организовала цикл перформансов. Самым интересным из семи перформансов оказался «Хор» Павла Альтхамера. Остальные были выдержаны в традициях классики жанра, отличающегося от театра главным образом тем, что в нем отсутствует драматургия.

★ С октября по декабрь в галерее «Захента» открыта выставка «Классики XX века». Выставленные картины подобраны в соответствии с «рейтингом» художников, опубликованном в еженедельнике «Политика». В первой десятке оказались Пабло Пикассо, Марсель Дюшан, Казимир Малевич, Энди Уорхол, Йозеф Боис, Василий Кандинский, Константин Бранкузи, Фрэнсис Бэкон и Сальвадор Дали.

★ Международное триеннале графики, организованное в Кракове в рамках фестиваля «Краков-2000», прошло под лозунгом «Мост в будущее». Было выставлено 613 работ 399 авторов из 55 стран. На этой выставке никого уже не удивляла ни компьютерная графика, ни чистая фотография. Зато удивление вызвала мнимая эффективность многих работ, вызванная влиянием рекламы и дизайна.

★ В варшавской «Захенте» открылась большая выставка Стефана Геровского, охватывающая 50 лет творчества художника. Родившийся в 1925 г. Геровский учился в краковской Академии художеств. Вначале он писал фигуративные картины, однако затем быстро перешел к абстрактной живописи, которой занимается и по сей день. Его полотна кажутся совершенным исполнением появившихся еще в начале века мечтаний о живописи как конструкции чистых форм.

★ В Силезском музее в Катовице были выставлены произведения Казимежа Сихульского, принадлежащие Львовской картинной галерее. Сихульский — известный польский художник, певец Гуцульщины, но прежде всего прекрасный рисовальщик и замечательный карикатурист. В Катовице его произведения будут отреставрированы, так как на протяжении последних 60 лет большинство из них хранилось в запасниках Львовской галереи.

★ «Образы смерти в польском искусстве XIX и XX веков» — так называется выставка, открывшаяся в краковском Национальном музее. Экспозиция разделена на четыре части. Первые две посвящены личному восприятию смерти. Третья и четвертая показывают смерть как метафору истории Польши в период разделов и работы, посвященные великим усопшим полякам.

★ В пансионате под Закопане прошли XV Встречи издателей и редакторов независимой местной прессы. Путеводной нитью встреч стала дискуссия об отношениях между прессой и местными органами самоуправления. Как утверждали журналисты, местные власти часто ожидают от прессы пропаганды их успехов. Работники органов са-



моуправления в свою очередь обвиняли газеты в том, что те ищут сенсаций и скандалов вместо того, чтобы давать дельную информацию.

★ В октябре во Франкфурте-на-Майне проходила крупнейшая в Европе международная книжная ярмарка. В нынешнем году Польша была на ней почетным гостем, что дало возможность пропагандировать не только польскую литературу, но и культуру в целом. На ярмарке была открыта выставка «Времена года. Польские пейзажи от эпохи Просвещения до конца XX века», на которой были представлены полотна Каналетто, Герымского, Мальчевского, Двурника и других. Были представлены и крупнейшие польские библиотеки. Состоялись литературные дискуссии на польские темы, мультимедийные презентации, концерты классической музыки и джаза, встречи с такими выдающимися деятелями польской культуры, как Вислава Шимборская, Владислав Бартошевский, Лешек Колаковский, Чеслав Милош, Славомир Мрожек, Ханна Краль, Рышард Капустинский, Тадеуш Ружевиц, Лешек Бальцерович. Была подготовлена бесплатная газета о польской литературе и культуре, раздававшаяся в поездах, а на книжных стендах красовался труд Коперника «De revolutionibus orbium coelestium». К ярмарке было переведено на немецкий около ста произведений польской литературы — отчасти это стало возможно благодаря усилиям Фонда литературы, поддерживающего переводы польских книг на иностранные языки. Быть может, этот Фонд окажется самым прочным и зримым результатом ярмарки для польской культуры. Во франкфуртском Еврейском музее экспонировался подпольный архив варшавского гетто — т.н. Архив Рингенблюма, находящийся на постоянном хранении в Еврейском историческом институте в Варшаве. Выставка эта, названная «Онег Шабат» («Радость субботняя»), продлится до 21 января будущего года. Всего польской экспозиции сопутствовало около 700 различных мероприятий.

★ Одним из сопутствующих мероприятий IV Фестиваля польской науки была дискуссия «Гордость и стыд поляков», в которой приняли участие многие известные ученые. Публика голосовала по вопросу, может ли польская история быть предметом гордости или ее надо стыдиться. Свою оценку получили и якобы традиционная польская терпимость, и былая готовность к восстаниям. Это был любопытный урок исторического мышления.

«ПАНДРЁШКА» В МОСКВЕ

★ 10 октября в Польском культурном центре при Посольстве РП в Москве состоялась презентация книги «Пандрёшка». Ее автор, Кристина Курчаб-Редлих — польская журналистка, почти десять лет проработавшая московским корреспондентом зарубежных, прежде всего польских, изданий, — представила свой взгляд, взгляд человека, живущего в гуще российской жизни и участвующего во всех ее проблемах, на «непростые зигзаги» (как выразился один из выступавших) происходящего в России в последние годы. Стремление «понять умом» страну-Пандрёшку, гибрид матрёшки с ящиком Пандоры — это попытка разобраться в процессах, берущих свое начало в очень далеком прошлом, осознать, чего же ожидать от будущего и вообще разобраться, каково это: жить в России. Любое мнение всегда отражает личное отношение к описываемому событию. Разнообразие мнений было представлено на презентации тележурналистом Андреем Даниловым, политическим обозревателем радио «Эхо Москвы» Андреем Черкизовым, поработавшим несколько лет в Польше журналистом Петром Черёмушкиным, связанным с Польшей долгими годами работы Леонидом Почиваловым, корреспондентами нескольких московских изданий, а также просто читателями, сумевшими познакомиться в оригинале с не переведенной пока книгой. Прозвучавшие на презентации отрывки из книги в прекрасном переводе Андрея Базилевского, были частично опубликованы в 5-ом номере «Новой Польши» за этот год. Написанная ярким, сочным, полным метафор языком книга вызвала неоднозначную реакцию — особенно глава о Чечне, отразившая мозаику впечатлений автора от неоднократных поездок туда. Горячие споры часто поворачивали русло обсуждения от книги к животрепещущим темам сегодняшнего дня; естественно, мнения, как это бывает в таких случаях, были разными и весьма заинтересованное обсуждение книги продемонстрировало необходимость ее издания на русском языке. А то, что книга этого несомненно заслуживает, подтвердил интерес, проявленный издательствами «МиК» и «Вагриус» — весьма солидными и широко известными на российском книжном рынке. Большое интервью с автором «Пандрёшки» Кристиной Курчаб-Редлих публикует еженедельник «Книжное обозрение».

Е.Ш.



Лешек Шаруга

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

Последний отредактированный Ежи Гедройцем номер парижской «Культуры» (№9/636) предлагает вниманию читателей любопытную статью Беаты Вильги и Томаша Пихура, озаглавленную «Калининград». Авторы сосредотачиваются на послевоенной истории города и области — несомненно, одного из важнейших стратегических районов современной России, в то же время отличающегося многокультурной, сложной и исторически глубокой традицией, в которой перемешаны немецкие, литовские, польские и русские влияния.

«Писать о будущем Калининградской области, — говорится в статье, — вещь для публициста чрезвычайно рискованная. Вспомним, что в начале 90-х, когда распадался Советский Союз, в отношении будущего области строились самые разнообразные планы. Сегодня они могут казаться смешными, но напомнить о них стоит. Вне всякого сомнения, наиболее поражающей воображение была концепция создания четвертого — наряду с Литвой, Латвией и Эстонией — прибалтийского государства под названием Боруссия. В авторстве этой идеи признался на страницах газеты «Жечпосполита» замечательный литовский поэт Томас Венцлова. По его словам, «о присоединении Калининградской области к Литве мечтает в глубине души почти каждый литовец». Каралабнибс, как называют этот город литовцы, — по мнению некоторых, естественная столица т.н. Малой Литвы. Конечно, в ответ на некоторые литовские притязания можно лишь пожалеть плечами, но факт остается фактом: лежащий в пределах области Советск (Тильзит) — это место, откуда в XIX в. началось литовское национальное возрождение.

В газетных публикациях всех заинтересованных сторон: Германии, Польши, Литвы и России — каждый обвинял всех остальных в территориальных притязаниях на область. «Коммерсант» поместил на своих страницах статью под характерным заголовком «Варшавский заговор» — иллюстрацией к ней служила будущая карта Речи Посполитой, не только прибавшей к рукам Калининград, но и простершейся далеко на восток от Пскова и Смоленска. В Польше опасения вызвала проведенная в начале 90-х операция по переселению в область немцев с территорий бывшего СССР, которую пытался организовать Дитмар Мунтер из Киля. В самой же Германии прошел слух о том, что генеральный секретарь ЦК КПСС М.С.Горбачев якобы предложил тогдашнему министру иностранных дел ФРГ Х.Геншеру продать Калининградскую область Германии. И хотя никто никогда не смог убедительно доказать, что такое предложение имело место, одна организация немцев, переселенных с Востока, подала на Геншера в суд, обвинив его в действиях, наносящих ущерб интересам Германии. Конечно, намеки на такое решение были: публицист Александр Дугин в книге «Основы геополитики. Геополитическое будущее России», изданной в Москве в 1997 г., прямо заявил, что Россия должна вернуть Калининградскую область Германии, дабы уничтожить символ братоубийственного немецко-российского конфликта. И все же чем дальше от распада Советского Союза, тем ясней становилось, что все теории, предполагавшие какие-либо изменения государственной принадлежности области, относятся к жанру «political fiction».

Ко всему этому можно добавить прозвучавшую со страниц влиятельной немецкой газеты «Цайт» концепцию Марион Дёнхофф, которая предложила изъять Калининградскую область из-



под контроля какого бы то ни было государства и создать на ее территории — при невмешательстве Германии — международную торговую зону.

«Сегодняшний Калининград, — продолжают авторы, — место особое, где сталкиваются друг с другом архитектурные реликты коммунизма, зачатки возрождающегося православия и увлечение историей города до 1945 года. Не вызывает удивления вид церкви (первой настоящей церкви в Калининграде), строящейся позади памятника Ленину, или церковь в приспособленном под нее помещении готического собора. Не вызывает удивления и мнение живущего в Калининграде русского писателя: «Калининградский округ, Самбийский полуостров — это единственный по-настоящему европейский анклав, населенный в подавляющем большинстве русскими и пока что принадлежащий России (...). Мы уже сорок лет пытаемся переварить Восточную Пруссию, а она, становясь частью нас самих, незаметно сама нас переваривает». Мы глубоко убеждены, что из этого литературного «переваривания» может возникнуть совершенно новое культурное, а в будущем и экономическое качество».

Потому-то Калининградская область и должна оказаться в поле зрения Польши:

«Не следует забывать, что уже сегодня граница между Калининградской областью и Польшей — это одновременно граница России и НАТО. Вероятно, через несколько лет она станет границей России и Европейского союза. Интересам Польши отвечает, чтобы граница эта была максимально открытой. Между тем Калининградская область практически не вызывает в Польше никакого интереса. (...) В принципе в этом нет ничего удивительного, ибо тема Калининграда иногда проскальзывает лишь на страницах издаваемого в Познани «Пшеглэнда заходнего», ольштынских «Комуникатов Варминско-Мазурских» и журнала «Боруссия», выпускаемого одноименным обществом. В издательстве этого общества вышла в свет по-польски, по-русски и по-немецки (а недавно и по-литовски. — Л.Ш.) внушительных размеров литературная антология «Боруссия. Земля и люди» под редакцией Казимежа Браконецкого и Вилфрида Липшера, посвященная Восточной Пруссии, а значит, и Калининграду. Книга дает возможность познакомиться с творчеством немецких, польских, русских (и литовских. — Л.Ш.) писателей и поэтов, связанных с Восточной Пруссией. Неоценимый вклад в дело понимания того, что происходит в Калининграде, вносит научно-исследовательский центр в Ольштыне, который издает ежемесячный обзор международной прессы, затрагивающей тему Калининграда. Однако все эти начинания — лишь капля в море нужд. С горечью приходится констатировать, что, несмотря на видимый прогресс во взаимоотношениях, наступивший после 1990 г., Калининград по-прежнему остается «Атлантидой» польской политики».

Эта статья — превосходный пример того, что всегда было для «Культуры» самым существенным: связывать на вид второстепенное или даже случайное с комплексным образом всей современной Европы, в который всегда вписывалось стремление вызвать перемены в польском сознании. Об этом пишет Анджей Менцель в эссе «Двадцатый век — еще в одном приближении», опубликованном на страницах гданьского «Пшеглэнда политычного» (№45):

«Основывая в эмиграции свое культурное предприятие, Ежи Гедройц думал не только о том, что сделать для Польши, но и о том, что сделать для Европы. В 1950 г. идея независимых (т.е. самоуправляющихся) Украины, Белоруссии и Литвы была абсолютной фантазией. Фантазия эта, разумеется, должна была сочетаться с идеей независимой и демократической Польши, занимающей свое место в европейской федерации. Визионерство Ежи Гедройца и Юлиуша Мерошевского, столпа публицистики «Культуры», было не только политическим, но и культурным. Они лучше всех в те времена знали, что проведение этих идей в жизнь связано с выполнением определенных внешних и внутренних условий. Внешним условием была смена после-



ялтинского порядка в Европе, что казалось недостижимым; внутренним условием должно было стать преобразование традиционной польской ментальности (во многих ее разновидностях), что тоже отнюдь не находилось в пределах достигаемого. По счастливому стечению обстоятельств (а также благодаря усилиям Ежи Гедройца) в этой работе «Культуре» помогали выдающиеся писатели. В частности, в произведениях Витольда Гомбровича и Чеслава Милоша выдвигался проект иного понимания польского характера».

Этот фрагмент эссе Менцеля вписан в более широкий контекст размышлений о своеобразии уходящего столетия:

«Продолжая освобождаться из-под гнета давнопрошедшего времени, спросим: что в нашем XX веке своеобразно и вместе с тем универсально? Что позволяет выделить это время не только хронологически, но и по существу? Ответ исключительно (что в истории редкость) однозначен. Решающую роль в специфике и в то же время универсальности этого века сыграло появление в наше время если не абсолютного, то радикального зла. Это радикальное зло — геноцид, Холокост, «концентрационный мир». Конечно, можно заметить, что геноцид совершался на протяжении всей истории человечества и что примеров истребления целых народов мы знаем предостаточно. Но только в XX веке преступления эти приобрели характер массовый, промышленный и в то же время идеологический. Холокост, ставший крайней их формой, был одновременно техническим и бескорыстным, и потому как прагматически, так и этически происходил «по ту сторону добра и зла». Перед лицом такого зла сам собой напрашивается вопрос: что же это, собственно, было — пароксизм цивилизации или извержение варварства? Наиболее обоснованные ответы распределяются в соответствии с представленной альтернативой: одни сажают на скамью подсудимых цивилизацию, другие — варварство. (...) Для искусства высокой пробы типология — это всего лишь приближение. Истинно художественные диагнозы Боровского и Ружевица целостны и сложны. Однако сложность эта менее важна, чем указание, которое упомянутые авторы совместно нам дают. Если специфику XX века определяет тоталитарное извержение зла, то в нашей литературе и искусстве имеются уникальные художественные свидетельства о нем. У нас есть даже нечто большее — целое созвездие авторов, создающих новую литературную парадигму, особый художественный язык искусства. Созвездие это было схематически названо «военным поколением» — так, будто бы война была для них приключением, а не навязанной судьбой. Но перед лицом этой судьбы они сумели выстоять, принимая ее как вызов всей человеческой действительности вместе взятой, во всех ее антропологических измерениях. Новые обличья пространства и времени, личности и общности, тела и души, разума и сердца — вот что создано их искусством. (...) Именно благодаря им мы теперь не такие, как прежде. Я вовсе не говорю, что мы стали лучше, — в этом крылся бы зачаток зла. Быть может, мы просто лучше знаем, что такое добро, а это знание заслуживает внимания. В той бездне, в которую нас ввергло современное извержение зла, произошла и проверка ценностей. Они упали «на дно истории» и там обнаружили свои качества. Всякая человеческая идеологизация ценностей оказывалась там манипуляцией, а человечество, народ, класс — зловещими инструментами. То негативное знание, которое мы вынесли оттуда, должно стать нам памятным предостережением. Однако еще важнее позитивное знание — несколько не подлежащих сомнению, проверенных аксиом. Первая из них — непреложная ценность человеческой личности, достоинство которой — мерило прочих ценностей. Исторически это достоинство имеет христианское происхождение, ценность же его, несомненно, универсальна. (...) Вторая аксиома — неразрывно связанное с личностью взаимное сосуществование людей на самом первичном уровне, по имени простейших связей называемом любовью, дружбой, верностью. Тоталитаризм, направленный именно против этих связей, открыл нам глаза на их основополагающую ценность. (...) Взаимное сосуществование личностей, их простейшая



связь друг с другом означают также их взаимопонимание. (...) Никто так нежно и вместе с тем бдительно не проникал в самую субстанцию взаимопонимания, как Мирон Бялошевский».

Мирон Бялошевский, однако, выражал эту субстанцию с помощью языка, язык же, как писал другой представитель того поколения, немецкий поэт Иоганнес Бобровский, — это «запыхавшаяся речь (...) в бесконечном пути к дому соседа». Бобровский, житель Кенигсберга, нынешнего Калининграда, хорошо знал, о чем говорит, ибо жил в пространстве многоязыком и многокультурном. Мир, рождающийся на исходе XX века, — это мир, преображенный злом и сознающий грозящее зло. Новая, все еще не разведанная карта Европы, возникающая в этом мире, требует постоянного поддержания той нежности и бдительности, о которых пишет Менцвель. Этому было посвящено дело жизни Ежи Гедройца, этому посвящен и труд его наследников — к примеру, редакции ольштынской «**Боруссии**», удостоенной несколько лет назад премии парижской «Культуры». Таким образом, мы снова переносимся на территорию Восточной Пруссии и Калининградской области, на землю, где ради будущего разведывается как прошлое, так и настоящее. В последнем (№20-21) номере журнала я нашел два текста, посвященных этой проблеме и обращающихся к последствиям того извержения зла, каким была Катастрофа европейского еврейства. Первый из них — очерк калининградского историка Ильи Владимировича Баракузского, озаглавленный «Забытая мелодия для органа и шопфлар. Очерк по истории евреев в Кенигсберге», второй — эссе Габриэле Лессер «Евреи в Кенигсберге и Калининграде». Г.Лессер пишет:

«История вернулась в Восточную Европу вместе с падением Берлинской стены и распадом СССР. (...) Тоска по «краю детских лет» приводит в Кенигсберг и евреев. Уцелевшие после Холокоста, они теперь рассеяны по всему миру».

Говорится в эссе и о том, что «открытие границ положило начало процессу обретения истории, который будет продолжаться еще очень долго. Не только калининградцы в первый раз получили возможность прочитать по-русски воспоминания жителей Кенигсберга. Русская «устная история» первых трудных лет после переселения в полностью разрушенный Кенигсберг тоже дошла наконец до Запада».

Как видно, малый русский анклав, с виду оттесненный на задворки современности, стал местом особого эксперимента: попытки установить взаимопонимание.

Что сказать в заключение? Если XX веку предстоит стать уроком взаимопонимания через понимание, то он требует нового прочтения. Одним из таких прочтений стало эссе Менцвеля. Но эти новые попытки прочтения невозможны без усилий переводчиков. Это отчетливо видно в польской культурной прессе, где, как в «**Боруссии**», появляется множество попыток вести диалог поверх государственных, культурных и языковых границ. Диалог этот — основа общности. А для того чтобы такая общность выжила, XXI век надо сделать столетием переводчиков.

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:

- Т.Конвицкий:** Памфлет на себя самого
Л.Бальцерович: Итоги 10-летия
Я.Ю.Липский: два патриотизма
Э.Бальцежан об антологии польской поэзии **Н.Астафьевой** и **В.Британишского**
З.Ромашевский, А.Лавут: Встречи с Андреем Сахаровым
А.Липатов о книге **С.Братковского**
В.Бересь Газетный киоск
Д. Ольбрыхский: Как ужиться с соседом?
А. Ермонский: Вы Гомбровича не читали?
Е.Стемповский об интеллигенции
Н.Подольская: Размышляя о Корчаке
Я. Видацкий: О Юлиуше Меровшевском
А.Наймродзкий: Клуб друзей Окуджавы
М.Клецель: Лукасинский в Шлиссельбурге
Р. Пшибыльский: Об **И.Бродском**, **А.Ахматовой**, **О.Мандельштаме**
К. Яновская и П. Мухарский: Беседы к концу столетия с
П.Герцем, Б.Скаргой и др.

СТИХОТВОРЕНИЯ

- Милоша, Стахуры, Твардовского, Шимборской, Бялошевского** и др.
в переводах
Бродского, Базилевского, Астафьевой, Британишского,
Горбаневской, Свяцкого и др.



НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ИЗДАВАЕМЫЕ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СЛЕДУЮЩИЕ ЖУРНАЛЫ:

Dialog

Ежемесячник, посвящённый современной драматургии.

**NOWE
KSIĄŻKI**

Ежемесячник для читателей, библиофилов, библиотечных работников и издателей. В каждом номере обзор новостей, рецензии, статьи о издательском деле, анонсы, библиографии.



**НОВАЯ
ПОЛЬША**

Новый ежемесячник о Польше на русском языке. Публицистика, политика, вопросы экономики и культура, обзор литературной и научной жизни страны.

twórczość

Самый долговечный и заслуженный польский литературный ежемесячник, посвящённый современной прозе, поэзии и культурной публицистике. Журнал активно участвует в культурной жизни Польши.

DWUMIĘSIĘCZNIK
ruch muzyczny

Единственный в Польше журнал о музыке, её теории и практике. Выходит раз в две недели.

L I T E R A T U R A
na świecie

Известнейший ежемесячник содержащий обзор произведений иностранных авторов.

Biblioteka Narodowa. Zakład Wydawniczy Czasopism Patronackich,
02-086 Warszawa, Al. Niepodległości 213, tel./fax 6082488, tel. 6082374